

ВЛАДИМИР БУРТОВОЙ

Волжский роман



Самарская вольница

Волжский роман

Владимир Буртовой
Самарская вольница

«ВЕЧЕ»

1988–1991

Буртовой В. И.

Самарская вольница / В. И. Буртовой — «ВЕЧЕ», 1988–1991 — (Волжский роман)

ISBN 978-5-4484-7962-5

Это первая часть дилогии о восстании казаков под предводительством Степана Разина. Используя документальные материалы, автор воссоздает картину действий казачьих атаманов Лазарьки и Романа Тимофеевых, Ивана Балаки и других исторических персонажей, рассказывая о начальном победном этапе народного бунта.

ISBN 978-5-4484-7962-5

© Буртовой В. И., 1988–1991

© ВЕЧЕ, 1988–1991

Содержание

Глава 1. Горька чужая сторона...	6
1	6
2	26
3	42
Глава 2. Восстание на Яике	52
1	52
2	66
Конец ознакомительного фрагмента.	77

Владимир Иванович Буртовой

Самарская вольница

© Буртовой В.И., 2019

© ООО «Издательство „Вече“», 2019

© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2019

Глава 1. Горька чужая сторона...

1

– Прями струг по ветру! Не давай ему валиться к волне бортом! Держи-ись! – срывая голос в неописуемом страхе, с кормы от руля заорал Никита Кузнецов, напрасно стараясь пере-силить рев моря и сплошной гул штормового ветра. Трое его товарищей-стрельцов, нелепо вскидывая руки, скользя ногами по мокрой палубе скачущего на волнах струга, поспешили к правому борту хоть как-то укрепить парус. Но кипящая пузырями волна ухнула через низкий фальшборт, сметая все, что лежало без должного крепления на ее пути.

– Проклятье... – Захлебнувшись соленой прогорклой водой, Никита юзом проехал по скользкой палубе едва ли не под полуметровой толщей прокатившейся над ним волны, и только канат, которым он загодя обмотал себя за пояс, удержал его в трех вершках от гибели в пучине Хвалынского моря¹.

Пропустив над собой сорванную ветром макушку гребня, стонущий всеми своими креп-лениями струг теперь стремительно накренился на другой борт, и Никиту неудержимо пово-локло к рулю, в очередной раз окатило с ног до головы.

– Братцы-ы! – подал голос Никита, не в силах увидеть что-то в облаке водяных брызг. – Где-е вы-ы?! – Он пытался было встать хотя бы на четвереньки, тряхнул головой – упавшие на глаза волосы мешали оглядеться, а когда мазнул по лицу холодной ладонью, екнуло сердце от недоброго предчувствия: в ответ на его призыв все тот же неистовый свист ветра в болтаю-щихся снастях да рев взбесившегося невесть с какой напасти моря.

«Господи, неужто...?» – и не осмелился даже домыслить того, что явственно лезло в сознание...

– Братцы-ы! – снова подал знак беды надорванным горлом Никита Кузнецов, страшась до конца поверить самому ужасному, что могло произойти. – Степа-ан! Фе-едька-а! Кондра-а-атий! Где вы-ы?

А в ответ все тот же злой хохот безжалостного царя морей, его жестокие до дикости шутки, когда, играючи, он швырял беспомощный струг с волны на волну, как разыгравшийся кот подбрасывает сомлевшую от страха мышь с лапки на лапку...

– Неужто... один? Оди-ин! – заплакал от отчаяния Никита, охватив руками скользкий руль, ткнувшись лбом в холодное, дрожащее под напором ветра дерево. Но налетела очередная волна, рванула его с такой силой, что задубевшие пальцы разжались, натянувшаяся веревка больно резанула бока через сырой кафтан.

– И меня скоро... вот так же, сорвет со струга, в пучину, – всхлипывая от жалости к погибшим сотоварищам, бормотал Никита, подтягиваясь по канату снова к рулю. Улучив недолгий миг относительного равновесия, он охватил левой рукой руль, кое-как распутал удавку вокруг ног из обрывка шкотины, диким взором окинул пустую палубу морского струга – никого! В трюме при качке плескалась попавшая вовнутрь вода.

– Господи! Всесильный Боже, спаси и помилуй! – Никита вскинул лицо к низким, стре-мительно несущимся на запад черным тучам, торопливо взмахнул перстами, трижды перекре-стившись, и тут же что было сил снова ухватился за спасительный руль.

¹ Хвалынское море – Каспийское море.

Струг, лишившись паруса и потому неуправляемый, стал подобен большой щепке среди разгулявшейся стихии, когда и море и ветер словно бы соперничали между собой за право опрокинуть и утопить упрямое судно и последнего человека из команды на нем.

Спасаясь от очередного соленого шквала, Никита Кузнецов так резко наклонился вниз, что, не рассчитав движение, больно, до фонтанчиков искр из глаз, ударился головой о руль, на какой-то миг потерял даже сознание и рухнул вдоль руля вниз. Нестерпимо резануло чем-то острым по коленям, и Никита, скривив лицо, очнулся – угодил, падая, на обломок реи.

– Проклятье, – со стоном выдохнул Никита. На ноющих коленях посунулся на свободное место, потом снова поднялся на ноги. Необходимость каким-либо образом обезопасить себя от водяных шквалов, гуляющих по палубе, заставила его до очередной водяной горы покрепче стянуть на поясе узел. Переждав еще один поток сорванного ветром гребня волны, обмотал канат трижды вокруг руля и притянулся к нему вплотную.

– Вот та-ак, – отплевавшись, пробормотал Никита. – Вот та-ак! Теперь только со стругом... либо к берегу, либо... – Оберегая глаза, он отвернулся лицом в сторону, куда дул порывистый, вперемишку с водой, ветер...

Вот уже третьи сутки носится струг по Хвалынскому морю, сорванный с якоря ураганом подле государева дворцового учуга² Уварова, близ устья Волги. Никита Кузнецов вместе со своими земляками-самарянами нес сторожевую охрану, прибыв из Самары в Астрахань по указу Казанского дворца, когда поступили тревожные вести о прорыве ватаги донских голутвенных³ казаков во главе с атаманом Степаном Разиным к Волге в мае 1667 года. В конце июля того же года самарские стрельцы на стругах, числом в две сотни человек, спешно отбыли в Астрахань, но ватага Разина к тому времени уже захватила каменный Яицкий городок и прочно там засела. Пока шли пересылки грамотами между Москвой и Яицким городком с попытками отговорить донскую голытьбу отстать от разбоя и непокорности властям, астраханский воевода использовал присланных ему в помощь стрельцов из верхних волжских городов для бережения учугов от разорения казаками. Среди таких сторожей в той неудачливой смене был и Никита Кузнецов с товарищами...

«Где-то теперь мои друзья? – печалился Никита, то и дело вжимая отяжелевшую от переживаний голову в плечи, когда, взлетев через борт, на него обрушивался шквал брызг невесть куда несущейся волны. – Должно, из сил выбившись, легли уже на темное дно... Вона как струг мотает! То тучи перед очами, то бездна кипящая!»

Стрелецкий кафтан на нем давно уже промок до последней ниточки, сапоги набухли, высокая шапка давно уже кувыркается в волнах рыбам на потеху. Нестерпимо хотелось пить, и Никита то и дело облизывал разъеденные солью губы. Краем глаза, воспаленного от постоянного ветра и морской воды, увидел за кормой струга огромную вздыбившуюся волну, охватил голову руками и взмолился:

– Спаси и помилуй, всемогущий Боже! Воззри с небес сквозь тучи – сижу я на мокрых досках среди дикой хляби морской и в двух вершках от гибели!

Вода окатила палубу, Никиту и обвисший вокруг мачты полуоборванный парус, нехотя схлынула за борт.

– Господи, – снова зашептал Никита, крестясь и отмаргиваясь. Он искал глазами хоть малый в тучах просвет, словно сквозь него молитва может скорее достигнуть неба. – Господи, за что послал ты моим друзьям безвинную гибель? Чем согрели мы перед тобой? Неужто, Боже, это какой оборотень нам дорогу перебежал, а? И как-то, всемогущий Господи, распорядишься ты моею жизнью? – От молитвы Никита незаметно перешел к горестным сетованиям: –

² Учуг (волжск.) – частокол или тын поперек реки для улова красной рыбы, которая по весне идет вверх по реке и останавливается этим учугом.

³ Голутвенный – бедный, в основном из пришлых крестьян, казак, живший, как правило, на дворе богатого казака.

Вот уж воистину беда не по лесу ходит, а по людям... Ох, Господи, пощади раба твоего... – Безжалостная волна рванула его в сторону, руки расцепились, и он, захлебываясь, пытался было невесть кому крикнуть «Спасите-е!». Куда-то вбок скользнули под ним мокрые доски, канат резанул спину, и по голове так сильно ударило, что Никита явственно услышал треск собственного черепа...

«Гафель⁴ сорвало», – только и мелькнуло в его затухающем сознании, и он будто в бездну какую полетел: плавно, кружась, как поднятое ветром ввысь куриное перышко...

– Ты что валяешься в мокрой яме, сынок?

– Так помер я, тятенька, аль не знаешь еще? – отозвался неподвижно лежащий Никита, с удивлением взирая из темной сырой ямы вверх, где над простоволосой седой головой родителя так хорошо видно синее горячее небо, и с неба этого, безоблачного, доносятся недалекие раскаты, с треском, какие бывают при грозе.

– Помер, сынок? Что за чушь ты мелешь! – на диво басовитым голосом расхохотался родитель, будто старался заглушить бог весть из каких туч идущий гром. – А как же тогда говоришь ты со мной, а?

– Так и тебя я минувшим летом самолично схоронил, а вот ты – стоишь без шапки надо мною. Отчего же так?

– По дважды не мрут, Никитушка, то правда. Да и одна не миновать, выходит. А что меня – покойника – встретил, то к счастью.

– Сказывают знающие люди, что стрелцу в поле помирать, не в море... А вот мои товарищи, видишь, сами ли своей волей сошли к водяному царю? А может, таков рок их, помимо старого изречения? – Никита пытался было, в силу этих рассуждений, развести по привычке руками в стороны, да руки, сложенные на груди, холодные и мокрые, не шевельнулись.

– Должно, и вправду таков их рок, Никитушка, – согласился родитель, а верховой ветер вдруг начал трепать его седые длинные волосы. – Никто не знает своего конца, сынок, никто на земле из живых не знает, на каком шагу Господь остановит его...

– А велико ли мне счастье, тятенька? – Никита вдруг ощутил себя маленьким-маленьким, каким помнил себя изначально, у родителя на крепких коленях, когда тот брал его сильными руками под мышки и, покачивая на коленях, приговаривал, смешно топорща большие усы: «Поехали, поехали, в лес за орехами...» – Скажи, ведь ты теперь у Господа на небе, рядышком... Может, прознал как о моей судьбе?

– Как изловчишься, сынок, – снова засмеялся родитель и озорно подмигнул сверху. – Либо со сковороды блин отведаешь, либо сковородника! И еще помни, Никитушка, не рок головы ищет, а сама голова на рок идет.

– Нешто мы своей волей в этом водяном пекле оказались, тятенька? Стрелецкий рок толкнул.

– Рок толкнул, а ты стой, не падай! – возвысил голос с суровостью родитель, и на его землистом морщинистом лице застыла требовательная строгость. – Ну, вставай, будет тебе в сырости валяться! Час пришел свое счастье пытаться! Во что святая не хлыстнет, глядишь, и на твою долю где ни то за морем каравай пекут! – И Никита с радостью и с ужасом одновременно видит, как родитель протягивает к нему длинную жилистую руку, которая словно на дрожжах растет из ставшего на диво коротким рукава кафтана. Невольный страх сковал Никите все члены, вот уже длинные пальцы отцовской руки совсем близко от его груди, вот сейчас они схватят его и поволокут, такого бессильного, крохотного и совсем невесомого...

«Так не в яму же тянет меня покойный родитель, – сквозь лед страха в голове проносится у Никиты успокоительная мысль. – Не в яму же к себе, а из ямы, к солнцу, к жизни!» – Он хочет протянуть навстречу родителю правую руку, силится и – не может! Но тут родитель под-

⁴ Гафель – верхняя рея паруса.

хватил его длинными пальцами под спину, как сам Никита в далеком детстве, бывало, подхватывал под брюшко пальцами тепленьких пушистых гусят, чтобы поднести к лицу и заглянуть в шустрые черные глазки-бусинки несмышленому птенцу.

– Во-от, поехали! – смеется родитель, сам не движется, а рука, подобно растянутой до предела резинке, сжимается и прячется в рукаве кафтана. – Во-от, зри на свет божий! Да родителя почаще вспоминай за столом и перед иконой...

Никита, словно вытряхнутый из руки-колыбели родителя, с грохотом падает на мокрую траву и зажмуривает глаза от ослепительного солнца...

Он очнулся от яркой вспышки над толовой – извилистый огненный зигзаг прочертил черное небо, резанул по глазам, пропал, а через миг трескучий раскат прокатился над только что высвеченными гребнями моря.

– Свят-свят! – прошептал, приходя в сознание, Никита, а сам мысленно отыскивал свою правую руку, чтобы перекреститься. И только повернув голову вправо, понял, что лежит на спине, с подвернутой рукой, у невысокого фальшборта. Саднила ушибленная голова, горло и все нутро запеклось от соленой горечи.

«Должно, в беспамятстве наглотался морской воды, – догадался Никита, силясь вытянуть из-под себя затекшую до бесчувствия руку. – Когда упал, было еще довольно светло, а теперь ночь темная, хоть перстом глаз коли...» – Вздрогнул – над стругом сверкнула огненная изломанная стрела, ударила где-то за бушпритом, да так неистово, что Никите послышалось шипение опаленной волны. И тут же треск прошел над головой, словно под чьими-то преогромными сапожищами не выдержали и рухнули сухие стропила новенькой крыши...

Кое-как перевернувшись на левый бок, Никита сел, чувствуя за спиной натянутый канат. Правая рука тяжело повисла, будто железная, и он принялся пальцами левой руки разминать отмершие, похоже, мышцы, а сам, чтобы не покатиться по палубе, широко раскинул ноги. Застонал, когда сотни иголок разом впились в руку от плеча и до кончиков каждого пальца, потом боль на время стала сплошной, нестерпимой. Казалось, что кто-то по живому пытался выкрутить суставы и порвать жилы.

– Ох ты, Господи, да что это за муки адовы! – Никита заскрипел зубами, сдерживая стон, левой рукой поднял и опустил правую: пальцы, не чувствуя прикосновения, глухо, словно деревянные, бумкнулись на доски.

«И то счастье, что не рассыпались врозь, у ладони держатся пока, – усмехнулся Никита. – Ох ты, горе-то какое! Неужто вовсе рука отмерла? Что тогда делать, однорукому?» – Собрав в кулак всю силу воли, Никита заставил правую руку перевернуться на досках с ладони на тыльную сторону. И она – о диво! – перевернулась!

– Ну-ка, хапни что ни то в кулак покрепче, хапни! – сам себе приказывал Никита, стремясь стиснуть пальцы. А кулак у него был, как говорится, дай Бог каждому, не многие стояли против Никиты Кузнецова, доведись сойтись на кулачных боях близ самарского кабака, у волжского берега.

– Шевельнулись! Шевельнулись-таки, раздери его раки! – Никита сквозь слезы от боли засмеялся, чувствуя, как медленно, будто весенняя первая капля через толщу промерзшего снега, сквозь ткань мышц начала пробиваться животворящая кровь. – Слава тебе, Боже, отошла от смерти моя рученька!

С усилием, но все же Никита трижды перекрестился и только тогда пристальнее оглядел палубу и всю тьму вокруг.

– А волны-то поутихли малость, – порадовался Никита, приметив, что теперь сюда, к рулю на корме, залетают лишь брызги волн, ударявших в борт, а сами они прокатываются под днищем изрядно осевшего струга, а не заливают его больше.

«В том и счастье мое! – возликовал душой Никита. – Не зря покойный родитель привиделся, из ямы меня вынул... Еще малость поштормило бы, струг вовсе залило бы водой. И не

видеть бы мне больше ни милой Парани, ни деток Степушки да Малаши с Маремьянушкой... Знать, молились они за меня всю эту тяжкую ночь, и Господь услышал их молитвы... То всегда так было – друг по дружке, а Бог по всех», – приободрился Никита, но снова вспомнил погибших товарищей, загрустил: не рано ли возрадовался? Не дома еще, а среди моря! Куда занесло тебя, стрелец? В какую морскую глушь? В последние сутки во рту не было и маковой дольки, тело начало терять недюжинную силу, наливаясь какой-то ленивой полусонной водой. А сколько тебе носиться по волнам? И чей берег увидишь однажды? Свой? Или землю басурманскую, попасть куда не больше радости, чем уйти в гости к водяному царю!

Думал так, потому что доводилось Никите встречать в Астрахани да и в родимой Самаре тоже выходцев из персидской неволи, слушать их рассказы о страданиях и мытарствах в гиблых невольничьих работах. Воистину, тамошнее житье для христиан стократ хуже рабского, особенно тем, кто попадал на галеры к веслам...

Никита поднял голову, пытаясь по направлению движения туч определить, в какую сторону несет ветром одинокий и беспомощный струг с таким же беспомощным его хозяином. Но не видно ни звезд, ни луны.

– Утром по восходу солнца узнаю, – негромко проговорил Никита, словно опасаясь голосом привлечь внимание морского владыки. Вздохнул – в пустом чреве заурчало, под стать плотоядному рычанию голодного волка при виде отбившейся от стада роковой овцы.

«Скромничают бары да собаки, – горько усмехнулся Никита, спиной облокотившись о твердый и неудобный от этого руль. – И я с ними по великой нужде и бескормнице», – и стал вспоминать, где могли быть припасы на струге, кроме тех, которые они уже поели за двое суток мытарства вчетвером. И припомнил, что пятидесятник Аника Хомуцкий, тоже из самарян, старшой в их карауле на учуге Уварове, кажись, не так давно повелел кормчему обновить припас воды и сухарей в его личной кладовой, что на корме, рядом с каютами для начальствующих лиц.

«Мы подъели припас команды, а командирскую кладовую не вскрывали, – обрадовался Никита, дернулся было туда, но потом хватило-таки разума и воли сдержаться, не пуститься по зыбкой мокрой палубе в розыск припасов. – Коль освобожусь от каната, а ну как вихрь сызнава налетит? Долго терпел, потерплю до света. Даст Бог, гроза кончится вовсе», – и поежился: вместо соленых брызг на него вдруг стали падать крупные капли – дождь! Подставив лицо и открыв рот, Никита долго полулежал так, откинувшись, пытаясь утолить жажду немногими каплями, которые реже попадали в рот, но больше секли лицо, смывая едкую соль с опавших щек, с продолговатого лица, полоскали, словно бабы коноплю на реке, скрученные волосы на голове, усы и короткую мягкую бороду.

Никита несколько раз выпрямлялся, с блаженством проводил ладонями по лицу, стретывая капли воды сверху вниз, как мусульманин при сотворении вечернего намаза⁵, снова откидывался и раскрывал широко рот. Когда занемели руки и спина, Никита сел ровно, спиной к рулю, осмотрелся еще раз – тьма вокруг, только слышно, как плещутся волны о борт, как хлопают оборванными концами парус и снасти, обвисшие вокруг мачты, да изредка грохочет упавший на палубу гафель, перекатываясь между фальшбортом и мачтой.

Над морем полыхнула редкая теперь, с началом дождя, молния, ослепила Никиту, и он зажмурился в ожидании грома, а перед внутренним взором всплыло иное видение, страшное и разорительное, которое довелось видеть и пережить совсем, казалось, недавно. И не где-нибудь в чужой земле, а в Самаре, в канун последнего для Никиты, похоже теперь, астраханского похода на службе...

⁵ Намаз – мусульманская урочная молитва.

По старинному обычаю Никита Кузнецов постарался закончить постройку нового дома к Семину дню⁶ – до этого они теснились с ребяташками у родителей Парани. Пока был один Степушка, кое-как обходились, приговаривая, что в тесноте живут, да не в обиде друг на друга. Но с годами появились первая за Степушкой сестрица, потом намекнула о скором своем появлении на свет божий и вторая, Маремьянка. Тогда и порешил Никита ударить челом своим друзьям-сослуживцам и просить их сообща за лето отстроить новую избу. Гуртом, как говорится, и батьку бить можно, а нескольким десяткам крепких и умелых рук срубить дом да дворовые постройки – дело не трудное, были бы бревна да по воскресным дням штоф водки к общему артельному столу. К обеду Семина дня старая теща, выпроводив Никиту и Параню с детишками в новый дом, протопила печь в своей избе, весь жар выгребла из печи в печурку и дождалась полдня. Затем она сгребла в горшок горячие угли, накрыла его новой скатертью, после чего раскрыла дверь и обратилась к заднему куту⁷ с ласковыми словами:

– Милости просим, дедушка домовой, к нам на новое жилье. – Постояла так недолго и, бережно неся горшок в руках, пошла через улицу к новому жилью.

У раскрытых ворот ее ожидали Никита и Параня, улыбаясь друг другу, многочисленным гостям и строгой в минуту свершения старинного обряда теще, которая на Самаре известна была как лучшая из повивальных бабок. Остановившись у ворот, теща строгим взглядом утишила сунувшегося было к ней шустрого Степушку, постучала костяшками пальцев в дубовую верю⁸ и спросила:

– Рады ли хозяева гостям?

Никита и раскрасневшаяся от радости Параня, взявшись за руки и придав возможно больше серьезности выражения лицам, с поклоном ответили, заранее наученные тещей:

– Милости просим, дедушка домовой, к нам на новое место!

Теща вошла в новый дом, впереди нее Никита понес на расшитом полотенце хлеб-соль, Параня, то и дело осаживая неумного Степушку, шла позади родительницы. Поставив горшок на загнетку⁹, теща сняла скатерть и потрясла ею по всем углам, приговаривая:

– Вот тебе, дедушка домовой, все четыре кута, обживай их! Вот кут передний, вот кут гостиной, вот спальней, вот и стряпчий. – Потом высыпала угли в печурку и к Никите со словами: – Горшок разобьешь и в полночь закопаешь под передним углом. А для бережения, чтоб злые люди не напустили на двор лихого домового, сыщи и повесь на конюшне медвежью голову!

– Как только сыщу, матушка Орина, так и прибью, – с улыбкой пообещал Никита.

– Надо было заранее приготовить, – проворчала теща, вздохнула: – И как только жить собираются, а? Старину не помнят, обрядов не знают! Одно веселье на уме... Ну, что стоишь? Кличь друзей да гостей, хлеб-соль к столу есть, новый дом обживать!

А гостей к Никите сошлось много, и хозяева угощали их радушно, особенно кума Михаила Хомутова, который когда-то крестил их первенца Степанушку, сотника стрелецкого, под началом которого ходил Никита. Потчевали куму Анницу, жену сотника, славную на Самаре как самую красивую женщину да и самую, пожалуй, ласковую, обходительную с последним нищевородом, которого горемычная судьба заносила в их город. Угощали на славу товарищей по службе, тех, кто помогал ставить просторный дом: пятидесятника Анику Хомуцкого, десятников Митьку Самару, да Алешку Торшилова, да стрельцов Гришку Суханова, Еремку Потопова, Ивашку Беляя, да всех и не перечислить! Гости засиделись до вторых петухов, а потом повалились спать, кто на лавку, кто под лавку, а кто и на сеновал полез...

⁶ 1 сентября по ст. стилю.

⁷ Кут – угол, заулук крестьянской избы.

⁸ Веря – у одностворчатых ворот навесной столб. Другой столб назывался притворным.

⁹ Загнетка – обычно левый заулук русской печи, ямка на предпечье, куда сгребается жар.

С того сеновала и приключилась беда. Еремка Потапов со сна и с изрядного перепоею вынул кремень да и принялся разжигать трут, чтобы запалить какой ни то свет – в чужом подворье да во тьме не враз-то отыщешь погреб с хмельным пивом! Трут зажечь не зажег, только пальцы в кровь избил да пустил роковую искру в сухое сено. Когда полыхнуло, вмиг протрезвевший Еремка с воплем: «Пожа-ар! Гори-им!» – кинулся в избу будить хозяина и тяжелых на подъем хмельных гостей.

До самого рассвета стрельцы, спотыкаясь и падая, бегали вокруг пожарища, плескали на горящие балки воду из ведер, благо колодец был во дворе, да что толку – не удержался верхом за гриву резвого скакуна, за хвост и подавно не удержишься! Коль сгорел дом, то и обгоревшая матица со стропилами не крыша над головой!

В сторонке, на затоптанном и золой засыпанном дворе близ скотного сарая стояла насмерть перепуганная Параня, прижимая к груди крохотную Маремьянку. Пообок жались Степанка да Малаша. Красивое, всегда улыбочливое, большеглазое лицо Парани казалось застывшей глиняной маской безысходного горя. С темных ресниц на полные щеки катились едкие слезы, но Паране было не до слез – сердце давил страх близкой зимы – старый-то дом родительница Орина уже сговорила продать новоприехавшим в город людям, а сама переезжает на жительство к старшему сыну, в Саратов.

– Вот, Степанка, беда-то какая, а? – скорее сама себе прошептала красивыми полными губами Параня, не глядя даже на сына, который, по-мужски скрестив руки на груди, молча, насупившись, смотрел на дымящиеся развалины, на большую толпу сбежавшихся на пожар соседей. – Что успели спасти на себя одевши, то и есть!

Хотя нет! Приглядевшись, Параня увидела поодаль, под яблонями, днями сюда пересажеными, стоит их сундук, на крышке которого горбился кем-то сгоряча побитый и в такой вине осознанно безответственный силач Еремка; сидел, общипывая на себе обгорелый на плечах кафтан. Это он, под угрозой остаться в кострище готового рухнуть дома, вскочил в спальную комнату хозяина, за боковую ручку выволок тяжеленный, железом обитый по углам сундук с одежонкой погорельцев. В том же сундуке лежал и припрятанный на черный день небольшой запасец денег. Да на те деньги разве что прокормиться в зиму, а дома нового и на сруб не наскрести...

– Вот, загулялся твой Никитка с гостями до поздних петухов, забыл о главном-то, – к Паране с укорами подошла родительница Орина, и руки ее, положенные на голову средней Малаши, заметно подрагивали от пережитого страха: могли ведь и сами в уголья обратиться! То счастье, что живы остались, но душа болела за дочь, за детишек: как им жить в зиму?

– Чего же забыл Никитушка, скажи? – Параня в удивлении изломила темные тонкие брови.

– Кувшин, в коем я переносила дедушку домового, в полночь не разбил и не закопал под передним углом сруба! Медвежью голову не приколотил... Должно, покинул дедушка домовой новое жилище, не пришлось оно ему по нраву. Охо-хо, под какой такой крышей в зиму остались? Кабы знать мне да помешкать с продажей избенки-то...

Неподалеку от них остановился, едва не падая от усталости, Никита, стащил с головы шапку и, весь окутавшись паром, утер ею лицо.

– Будя, братцы, плескать воду, только гарь да дым от этого! – он махнул рукой стрельцам, которые друг по дружке передавали ведра.

– Надобно Еремку сбить со двора, а тебе вселиться в его дом! – горячился пушкарь Ивашка Чуносков, то и дело хватая за воротник старшего своего Алешку, чтоб не лез близко к огню. – А Еремка пушай со своими сопливцами тута посидит, зимушку погрееется!

Никита с укоризной глянул на скорого к расправе пушкаря, головой покачал и ответил твердо:

– Его детишки чем виноваты? Погляди вон на Еремку и его женку: Аленка стоит рядом с ним ни жива ни мертва, более моей Парани убивается от несчастья. Так неужто я злой кизыл-башец какой, чтобы над товарищем повиснуть коршуном... Мир не оставит нас в беде...

– Тогда я первый тебе в подмогу! – тут же решился быстро отходчивый от гнева пушкарь и повернулся к своей женке, такой же кряжистой и крепкой, как и сам. – Параня, неси-ка, голубушка, потайной наш узелок, что на дне сундука схоронен! Не велико мое сбережение, а сыпанется в общую кучу! – и возвысил басистый голос над бабьим воем и мужским угрюмым говором: – Погуляли, братцы, погрелись, да негоже так-то по домам расходиться. Надобно Никите на новые бревна скинуться да в зиму избу спешно поставить. Плотники и среди нас сызнава добрые сыщутся, а вот бревна да доски погорели, их купить да привезти надобно. Несите, братцы, любую деньгу, лишь бы от чистого сердца была. Годятся серебряные ефимки, а еще лучше рубли, да таких, знаю, у стрельцов и днем с огнем не сыщешь! Годятся и сабяницы да копейки, годятся и полушки, ежели ссыпаны в лукошко. Хороша любая деньга!¹⁰

Бывшие на новоселье стрельцы, а также прибежавшие на пожар соседи, добрые знакомцы или просто сердобольные, кто сразу, ежели были деньги с собой, подходили к Никите и отдавали, иные, сбегав домой в город или на посад, возвращались с монетами или с предметами домашнего скарба.

– Спаси вас Бог, братцы, – растроганно кланяясь, говорил добрым людям Никита, принимая подношения. – Запоминайте, кто что дал. Разживемся – всенепременно возверну долги, раздери меня раки!

Сотник Михаил Хомутов, вручив Никите три серебряных рубля, пожурил своего кума:

– Неужто мы для того тебе даем, чтоб опосля последнюю шерсть остричь? – И обратил минутную неловкость от слов Никиты в шутку, подмигнул карим глазом, как бы в раздумии почесал бритый подбородок. – Вот к Рождеству, Бог даст, отстроишься, так сызнава покличь нас на новоселье. И Еремку Потапова, только проследи, кум, чтоб тот Еремка кремь с трутом дома не оставил!

Еремка Потапов, все так же сутулясь, подошел к Никите, винясь, вновь пожал крупными плечами, протянул с десяток копеек, две добротных собольих шкурки, ценою каждая в семнадцать копеек, и две полушки, перстень и серьги из серебра – это Аленка с себя сняла на подношение погорельцам.

– Вот, братка Никита, возьми. На днях съезжу к родителю в Синбирск, возьму в долг, тебе на обустройство принесу. Прости, Христа ради, не иначе, пьяный бес и меня, пьяного, попутал... Зарок даю – зелья этого более в рот не брать... разве что только на поминках, когда грех не помянуть покойного... – и в большой на себя досаде покривил бородатое, в оспинках, лицо.

– Полно тебе, Ерема, так-то убиваться, – Никита дружески обнял товарища за плечи, пытался, но не смог даже легонько встряхнуть эту мускулистую глыбу. – С кем не бывает лиха? Да и не без скотины же мы остались! Конь цел, корова, телка, овцы целы! Только и горя, что петух с курами погорели, так не дорого и стоят!

К ним снова подошел сотник Михаил Хомутов, взял Никиту за локоть, сказал твердо, как о решенном:

– Бери, кум, Параню да детишек, идем ко мне. Займешь боковую горницу, ребятишек в пристрое поместим, там светло и сухо, постелить сыщем что. Кличь Параню, что толку слезы лить на ветру да на головешки смотреть. Поутру думать будем, что и как делать примемся.

¹⁰ Деньга – русская серебряная монета XIV–XVIII веков. Из гривны серебра (48 золотников) с 1535 года изготовляли 600 денег-сабяниц или 300 копеек. На деньгах-сабяницах изображался всадник с саблей, на копейке – всадник с копьём. Полушка – 1/4 копейки, чеканилась из серебра без обозначения достоинства, весом в 0,17 грамма. В одном рубле было 100 копеек, которые чаще всего назывались новгородками, каждая была вдвое дороже сабяницы.

Никита поклонился сотнику в пояс, взял Степана и Маланю за ручки, а Параня понесла грудную дочурку и в сопровождении охающей Орины да стрельцов, которые прихватили их сундук да собранный немудреный скарб, пошли вверх от волжской стены города, где пообок с домом Чуносовых стоял просторный двор сотника.

Спустя недели три на расчищенном пепелище Кузнецовых были сгружены первые десятки бревен, но потом дело осложнилось тем, что сплав леса по Волге кончился, начали заготавливать лес своими силами, в свободное от службы время, потихоньку уже и сруб обозначился, но задули зимние ветра, запуржили ранние в том году метели, замело окрест так, что на дровнях в лес и то не просто продрасться.

Параня загрустила, видя, что строительство дома затягивается, но Хомутовы утешали ее. Особенно старалась Анница:

– Куда спешить-то тебе, Параня? – гладила по плечу ласково, заглядывая ей в лицо своими синими бездонными глазами. – Живите себе всю зиму... Да и мне с вами куда веселее, – со вздохом добавила Анница, прислушиваясь к звонкому смеху Малаши. – Матушка моя Авдотья навещает меня не часто, Миша вечно по службе, сижу в доме одна да одна... Только и речи людской, что кота побраню за мелкую шкodu¹¹.

По весне дело на подворье Кузнецовых пошло быстрее. Уже и проемы окон обозначились, уже встали косяки будущих дверей, и Никита, радуясь сухим летним дням, прикидывал, успеют ли они снова к Семину дню подвести дом под крышу, а уж медвежью голову на этот раз он постарается достать у самарского Волкодава Игната Говорухина заранее. И выходило так, что успевали с работой... Да неожиданный гром грянул над стрельцом-погорельцем!

Да и над его ли только головой?

Еще с прошлого, 1666 года доходили до Самары слухи о том, что голутвенные донские казаки, собрав вокруг себя немалые сотни беглых, с атаманом Васькой Усом предприняли поход к Москве, желая вписаться в регулярное казачье войско и двинуться на Польшу, в помощь украинскому казачеству и войскам великого государя и царя Алексея Михайловича. Однако великий государь счел опасным приближение «мужицкого воровского» войска к центру России, где и без того волновались помещичьи крестьяне, и выслал против Васьки Усы сильное войско, принудив того возвратиться на Дон.

В январе 1667 года наконец-то закончилась кровопролитная тринадцатилетняя война с Польшей и с крымскими татарами, было заключено Андрусовское перемирие, дававшее обоим государствам так нужный мир и роздых для приведения своего хозяйства в порядок, крепко подорванного бесконечными поборами на нужды войны.

Но перемирие крепко ударило по мелким служилым, так называемым даточным людям, а также по обнищавшим и разоренным мелкопоместным дворянам и детям боярским¹², лишенным теперь единственного средства существования – царского жалованья за ратную службу. Многим из них не оставалось иного пути, как уходить на Дон, в Поволжье в поисках удачи и новой службы на окраинах в наемных рейтарских войсках. Не без тревоги писал в Москву царицынский воевода Андрей Унковский, что «...во многие де в донские городки пришли с Украины беглые боярские люди и крестьяне з женами и з детьми, и от того де ныне на Дону голод большой».

Царицынский воевода, живший пообок с беспокойным Войском Донским, был хорошо осведомлен о тамошних делах и знал, чем грозит такой наплыв беглых под казачьи знамена, учитывая и то, что основная масса этих беглых – недавние ратные люди. Да и новый атаман голутвенного казачьего войска Степан Разин в своем письме не оставлял никаких иллюзий на

¹¹ Шкода (стар.) – вред, убыток, порча и т. д.

¹² Дети боярские – сословие, получавшее от правительства участок земли, с обязательством нести военную и земскую службу.

дальнейшую спокойную жизнь в понизовых городах Волги и Дона. Степан Разин сам писал воеводе Унковскому, что «в войске же им пить и есть стало нечево, а государева денежного и хлебного жалованья присылают им скудно, и они де пошли на Волгу реку покормитца».

Этот выход на «кормление» прогремел по всей России словно удар грома с ясного неба, так что и до Москвы докатилось роковое известие: в середине мая 1667 года до тысячи обездоленных казаков и беглых людей вышли с Дона на Волгу у Царицына, близ урочища¹³ Каравайные Горы. Казаки напали на большой торговый караван знатного московского купца Василия Шорина, одновременно пограбили большие струги московского царя и струги патриарха. Многие стрельцы и работные люди со стругов пристали к казакам. Отряд отважного атамана увеличился до полутора тысяч человек, и с этим отрядом Степан Разин прошел мимо Царицына. Воевода Унковский приказал было открыть огонь из пушек, но пушки «почему-то» выстрелили одними пыжами, и казаки беспрепятственно миновали грозные бастионы Царицына.

Точно так же обхитрил Степан Разин и высланных против него к Черному Яру стрелецких голов Северова и Лопатина. Он сделал вид, что намерен взять крепость штурмом. Стрельцы – пятьсот человек пехоты и шесть сот конных – изготовились оборонять Черный Яр, а казаки, быстро пометавшись в струги, проскочили вниз, к Астрахани, а потом вышли в Хвалынское море, имея заранее договоренность со стрельцами нижнего Яицкого городка о их готовности сдать каменную твердыню, под стать астраханскому кремлю, донским казакам. Возглавлял мятежных казаков и яицких стрельцов Федька Сукин со своими товарищами.

Астраханский воевода Хилков отправил на уничтожение мятежных казаков стрелецкого полковника Ружинского с одной тысячей семьястами стрельцов и солдат, но государевы служилые люди не смогли отыскать, куда именно подевались казаки, – море большое, островов на нем много, как много по берегам богатых персидских и тухменских городов, каждый из которых мог послужить соблазнительной приманкой донским казакам...

Все это стало известно в Самаре уже в первой половине 1667 года с оглашения воеводой и князем Семеном Шаховским присланного сообщения из приказа¹⁴ Казанского дворца.

Самарские стрельцы почуяли неминуемый скорый поход, особенно когда боярская дума в Москве постановила сменить нерасторопного астраханского воеводу Хилкова и направить в Астрахань воеводой боярина князя Прозоровского, а походными воеводами к нему определить младшего брата Михаила Прозоровского и князя Семена Львова. В их подчинение было направлено четыре полка московских стрельцов – две тысячи шестьсот человек, а также велено было собрать служилых пеших людей из Синбирска и других городов Синбирской засечной черты, а также из Самары и Саратова «с пушки и з гранаты и со всеми пушечными запасы».

А вскоре, вслед за известием о постановлении боярской думы, 29 июля, в Самару поступила грамота из приказа Казанского дворца с повелением отправить из Самары две сотни пеших стрельцов в войско Михаила Прозоровского, который уже выступил из Москвы к Саратову. И вместе со своими товарищами из сотни Михаила Хомутова пошел в поход недавний погорелец Никита Кузнецов, оставив в недостроенном доме жену Параню с тремя ребятишками...

И теперь, в жутком одиночестве, вздрагивая невольно при ярких и очень близких, казалось, молниях, под треск раскалываемого неба, Никита молился о спасении своей, грешной, конечно же, души, иначе Господь не послал бы ему таких тяжких испытаний.

– Великий Боже! – и Никита троекратно перекрестился, отбил земные поклоны, натягивая канат, которым был привязан к рулю. – Боже, спаси и сохрани раба твоего Никиту для ради

¹³ Урочище – всякий природный знак, как-то: речка, гора, овраг, грива, лес. Ранее принимали за урочище и одинокое дерево, пень, приметный камень и т. д.

¹⁴ Стрельцы управлялись «приказами»: делились на приказы, полки, округа.

малых детишек! Сын Степанка слаб еще, матушке своей не помощник, меньшим сестренкам не защита! Грешен я, Господи, каюсь всей душой, но ведь ты всемогущ и всеведущ, стало быть, знаешь, что не душегуб я и не богоотступник какой... Яви, Боже, свою милость, доставь меня на землю твердую, непорченным и во здравии, а я за то буду тебе ежене поклонны класть пред иконой бесчисленно и свечи не дорогие ставить в божьем храме...

Молился Никита, а сам с несгибаемой в душе надеждой на помощь Всевышнего оглядывал беспросветный окоем. В животе то и дело возникали острые колики, так что он между словами молитвы, не сдержавшись, сунул кулаком себе в чрево, проворчал:

– Похоже, вместе с соленой водой живого ежа проглотил! Надо тебе, стрелец, не только о спасении души заботиться, но и об жадной утробе. Ишь, словно туда кусок грома небесного влетело, теперь по кишкам гуркает!

Никита с усилием поднялся на ноги, глянул в сторону левого борта и увидел, что там сквозь темный покров туч едва заметно забрезжило: всходило солнце! Оттуда ветер дул, а стало быть, струг гнало к кизылбашскому берегу!

– Мать Пресвятая Богородица! – Он даже руки вскинул к небу! – Видно, не всю еще чашу бед испил раб божий!

Никита еще раз, повнимательнее, осмотрел судно – парус ему не починить, рею не поднять одному, снасти изодраны так, словно не ветер, а Мамай прошел по палубе струга! За кормой морского струга у них, для разездов, всегда был привязан небольшой челн с веслами. Он торопливо, срываясь ослабевшими пальцами, развязал мокрый узел каната и, покачиваясь на зыбкой палубе, побрел к корме. Там от дубовой причальной тумбы свисал канат. Никита склонился над пучиной, но на канате держался, плавая на воде, лишь бесформенный обломок носовой части бывшего челна.

– Волнами о корму размозжило... Что же теперь делать? Под стать быку уподобился – неведомо куда ведет меня ветер, а может, и под роковой нож! Но коли так, то надобно сил набраться. – Он обошел толстый, сотнями ладоней отполированный румпель кормового руля, добрался до каюты пятидесятника Аники Хомуцкого. У набухшей от влаги двери задержал шаг: вдруг подумалось, что вот сейчас, едва он рывком раскроет дверь, навстречу ему поднимется с кровати пьяный и хмурый Аника и изречет медвежьим рыком: «Чего тебе, чарку поднести?» – И насупит лохматые брови над темными, будто в постоянном тумане глазами.

Никита знал, что пьет Аника от того, что не может пересилить своего горя – давно уже женат он на Дуняше, которая доводится родной сестрой Ксюше, жене их общего закадычного дружка Митьки Самары, а детишек у них все так и нет... А без детишек и царские хоромы сиротами смотрятся, не только стрелецкая рубленая малая изба...

Но Аники в каюте нет, полный беспорядок – все, что могло свалиться и оторваться, свалилось и оторвалось, разметано по полу между лавкой-кроватью и столом у квадратного окошка. И только походный рундук закрыт на замок. В этом рундуке Аника хранил новый стрелецкий кафтан, сберегая его для праздников, да несколько заветных, на крайний случай, бутылок вина.

Никита отыскал за рундуком в углу тяжелый топор, легко сшиб замок, поднял крышку.

– Не мне, так кизылбашцам достанется в добычу... А я хоть в сухое переоденусь, – бормотал негромко Никита, переваливаясь то к двери, то к лавке, смотря куда кренился струг на пологих уже волнах. Хлопала раскрытая дверь, но он не обращал на нее внимания. – Голодный да голый и архиерей украдет, – оправдывался, должно перед Богом, Никита. – Вот уж воистину – воры не родом роятся, а кого бес свяжет... Я же, друг Аника, не в разбой ударился, но ради спасения живота своего, потому как продрог до косточек от сырости. А над морем вона как студено дует, можно и чахотку подхватить. Уцелею сам, верну и кафтан в сохранности. Ну а пристрелят меня кизылбашцы, то и кафтан пропадет, – и усмехнулся, вспомнив любимую присказку своего кума-сотника Хомутова, что стрелцу в бою погибать стократ легче и при-

вычнее, чем детей рожать! – Ништо-о, даст Господь силы и способа, отобьюся как ни то от лихих кизылбашцев, – проговорил Никита, проворно скинул мокрый кафтан, мокрые рубашку и порты, размотал узел запасливого Аники, надел сухое белье – малость великовато, но тепло-то как стало! И тут же снова с горечью подумал: «А каким таким случаем мыслишь ты, Ники-тушка, спастись от неминуемого кизылбашского плена? Да и чем думаешь побить несметное шахское воинство? Неужто вот этим топором? Даже сабля твоя где-то утеряна вместе с поясом...»

Никита осмотрел рундук пятидесятника в надежде сыскать пистоль, кинжал или саблю, но под руку попал лишь кожаный мешочек с монетами. Никита развязал его, сыпанул на стол. В сумрачном свете из окошечка на столе заблестели серебряные рубли, их было пять, да не более десятка серебряных же новгородок.

– Не богат наш пятидесятник, а потому это серебро надобно будет ему возвратить. – Никита вспомнил, что Аника после пожара дал ему на обустройство серебром рубль да деньгами полрубля. – Аника любит выпить, любит и покушать, а лисья нора не бывает без куриных косточек... Авось и рыбака толкает в бока, с печи снимает да в воду купает! – и обрадовался несказанно. – Ага, ну-ка, что в этом чуланчике? Не здесь ли?

Пообок с лавкой был сооружен небольшой чуланчик, дверца которого также заперта на висячий замок. Хватило и здесь одного взмаха топора. Никита, глянув внутрь, усмехнулся, помечтал как о несбыточном: вот так бы и ему теперь одним ударом да срубить бы эти гиблые деньки мытарств по Хвалынскому морю, чтоб снова к товарищам в Астрахань, а лучше того в родимую Самару, к глазастой и ласковой Паране, к детишкам...

В чуланчике сыскались сухари, в промасленной тряпице изрядный кус соленого сала, каравай ржаного хлеба недавней на учуге выпечки, пять сушеных толстолобиков, два круга копченой колбасы, окорок фунта на четыре.

– Ух ты-ы! – только и выдохнул Никита, сглотнув набежавшую слюну, присел на край лавки перед раскрытым чуланчиком, потом нагнулся и рукой качнул ведерный бочоночек – полон! И тут снова прогорклая колючая судорога перекутила утробу похлеще, чем прачка перекручивает, отжимая, постиранные портки или рушник. Никита не выдержал, вскрыл одну бутылку из запасов Аники, перекрестился, крикнул, отпил несколько глотков, тут же отломил краюху хлеба и полкруга колбасы...

Через полчаса, сытый и обогретый изнутри и снаружи, Никита вышел на палубу, покачиваясь не только от морской волны – крепкое вино, выпитое на пустой желудок, ударило в голову, в ноги и легкой прозрачно-колышущейся пеленой легло на глаза.

– Ну-ка, ну-ка, – бормотал Никита, оглядывая струг, море и небо над головой. Через люк глянул в мурью¹⁵ – воды набралось изрядно, одному ее вычерпать и мыслить нечего, сил не хватит бегать с ведрами вниз да вверх. Никита обреченно махнул рукой – все едино струг кизылбашцам вот так, целиком, он не оставит, а сожжет, коль к тому будет возможность.

– Однако струг не сеновал, одной искрой не подпалить, как Еремка мой двор... Чу, солнышко проглянуло, – обрадовался хмельной Никита, словно теперь-то все беды прочь уйдут и его вынесет ветром к родным российским берегам. О-о, родимые берега! С каждым часом и с каждым порывом ветра вы дальше и дальше, а с вами и милая Россия, где трудно зато порою жить, да все же родная сторонка, а не гиблая горькая чужбина!

Никита невольно вздрогнул, шагнул от мачты и встал у кички¹⁶ – накликал, похоже, на свою голову! Там, за правым бортом, сверкнули сине-черным отливом скалистые громады,

¹⁵ Мурья (волжск.) – пространство между палубой и грузом, где укрываются в непогоду бурлаки, а также трюм.

¹⁶ Кичка – перед, нос судна. «Сарынь на кичку!» – приказ волжских разбойников бурлакам, чтоб не мешали им биться со стражей.

потом их вновь затянуло серым вязким мраком. Нет, не затянуло, а тучи наплзли на солнце, и оком сузился вокруг струга на расстояние не более версты.

Хмель разом, словно одним порывом ветра, выдуло из головы, Никита настороженно глядел вперед. Что же готовит ему Господь там, на недалеком уже берегу?

До наступления вечера Никите еще дважды удалось разглядеть приближающийся берег с заснеженными горами, и всякий раз тревога окатывала его с головы до ног словно ледяной водой – что ждет его там? Что бы ни ждало, решил Никита и кулаком пристукнул о заднюю часть бушприта, а битым псом он к чужой ноге ни за что на свете не приляжет! Лучше от пули или от сабли погибнуть, чем скотское житье в неволе!

Укрепившись так мысленно и осенив себя крестным знаменем, Никита, когда уже вовсе стемнело, вошел в каюту ныне спокойно, наверно, спящего на учуге Аники Хомуцкого и прилег на лавку, кинув под себя матрац из камыша, а под голову мягкую куриного пера подушку, которая была спрятана в рундуке пятидесятника. И отдавшись на волю Господа (а что он мог еще сделать один на бурей разрушенном струге?), едва только прилег головой на подушку, как тут же уснул, убаюканный мерным покачиванием и изнурительной борьбой со штормом.

* * *

Резкий толчок сбросил Никиту с лавки на пол, да так ропотово, что он головой трахнулся о ножку стола.

– Ох ты, дьявольщина! – ругнулся Никита спросонья. – Кой бес так-то потешается, а? – Не разобравшись, он решил, что кто-то над ним недобро подшутил. Вскочил, готовый тут же дать ответного тумака неосторожному забияке. Но едва взгляд упал на серый квадрат окна, а потом и на распахнувшуюся от толчка дверь каюты, как осознал свое незавидное положение. Нахлобучил шапку и шагнул было к двери, посмотреть, куда именно ткнулся в берег струг, как недалекий свет высокого костра заставил замереть: на берегу, тако же видимо, разбуженные треском навалившегося на прибрежные камни струга, словно недвижные изваяния, стояли две человеческие фигуры с саблями наголо. Они были по ту сторону огня и через свет костра не могли сразу разглядеть Никиту. Чуть подальше, так же хорошо различимо, мотали головами два разнузданных, под седлами, коня...

– Кизылбашцы, разрази их гром! – распознал чужеземцев Никита и, к своему удивлению, не испытал леденящего страха. Он отступил в каюту, но так, чтобы видеть персов и быть готовым к драке. – Как их сюда черт занес? И двое ли только? А может, это передовой дозор большого отряда или при караване? Тогда почему других костров во тьме не видно?

Пока Никита размышлял, кизылбашцы сошлись, о чем-то посоветовались, потом уселись у костра на песок, лицом к осевшему на камнях стругу. Наткнувшись правым бортом на острый камень, он чуть завалился на левый борт. Никита нащупал топор, положил его на лавку около себя, чтобы был под рукой.

«До рассвета, похоже, не сунутся на палубу, опасаются чужого дома. Ну а потом...» – что будет потом, то не в его власти, это он отлично понимал. Тюкнув топором одного, а если повезет, то и второго, не домой кривым проулком бежать, а прямая дорога в лапы другим кизылбашцам! Только чудо могло в такой беде помочь.

– Аминем беса не отшибешь, добрым словом кизылбашца не умаслишь, – рассуждал Никита, с лавки продолжая наблюдать через приоткрытую дверь за близкими врагами. Снова вспомнил астраханские рассказы о русских пленниках в здешних клятых землях, где стоял невольничий город-рынок Дербень. – Помогай, святой угодник Никола, а ты, Никита, не пряди ушами! Беда не муха, не стряхнешь и не сдуешь с губы... А быть по моему делу так, как поместил умный дьяк!

Он протянул руку к чуланчику, отломил кус колбасы, краюху хлеба, налил в кружку вина – как знать, не в последний ли раз! – начал позднюю трапезу. Не хотелось верить в худшее, заранее руки на груди складывать и читать себе отходную молитву, потому как робкого беднягу только ленивый не бьет, а задиристого и силач стороной обходит!

Никита наелся до предела, во тьме смахнул с бородки невидимые крошки хлеба, запил вином. Тепло и сытость разлились по телу, и он усмехнулся:

– Вот так-то веселее будет перед дракой! – А сам по-прежнему наблюдал за кизылбашцами, которые сидели у костра и медленно, вместе с пламенем костра, раскачивались, словно два чучела под ровными порывами ветра. Прислушавшись, Никита различил негромкую песню на чужом непонятном языке. Никита вдруг обозлился за давнюю обиду, из-за которой теперешнее горе его стало во сто крат тяжелее!

«Будь один из них самарский воевода князь Семен Шаховской, ей-ей, ему бы первый мой удар топором по темени! Просил ведь лысого дьявола – оставь дома, покудова не срублю новую избу для жития Паране с детишками! А как дострою, так спешно и выеду к сотне и службу государеву стану нести исправно! Так нет же! На все мои слезные резоны каркнул плешивый воевода, будто предсмертное от ворона предрекание: „Ступай! Стрелецкая забота не о бабе и детях, а о государевой службе! Ежели и голову там оставишь, не честь стрельцу плакать! Вдова за покойного мужа от казны жалованье получит!“ Теперь я сгину в этих, богом кинутых краях, а Параня с ребятишками без своего угла по миру пойдут Христовым именем кормиться, от казны жалованья на всех не хватит! – От негодования и жалости к смиренной и ласковой жене и детям у Никиты ком к горлу подкатился, даже кровь дикая в голову ударила. – Эх, черт побери! Уходить бы нашего воеводу – взять за ноги да в воду! У стрельца голова в расход на государевой службе, а у толстобрюхих воевод о них душа не темнеет с печали! Жаль, не туда, не в ту сторону пошла донская голутвенная вольница – на море шарпать! Надобно было на Самару грянуть... Эко, о чем раздумался! – спохватился и одернул себя Никита. – Умыслил всесильного воеводу за бороду ухватить, а сам и на полшага от собственной гибели еще не отсунулся!»

За тревожными размышлениями наступил рассвет, беспокойный для Никиты, полный радужных, видно было, надежд для кизылбашцев, которые потирали руки в ожидании богатой добычи, аллахом подкинутой к берегу. Кизылбашцы, едва взошло солнце и осветило все еще взволнованное бугристое море и влажные, росой омытые скалы, приблизились к стругу, о чем-то громко говоря между собой. От берега до борта было шагов двадцать, не менее.

«Ишь, лалакают не по-людски, – озлился Никита, не имея возможности разгадать чужих замыслов. – Пождите часа, я вам смастерю нешаткие сходни да и спущу под резвые ваши ноженьки... Эка жалость, что Аника не хранил в рундучке хотя бы один пистоль!»

Прислушиваясь к галдежу кизылбашцев, он прикидывал, а не удастся ли как обхитрить персов да завладеть конями, пока будут обшаривать нутро струга эти два всадника?

«В мурью не полезут, – догадался Никита, – смекнут быстро, что это не купеческий корабль, а стало быть, никаких приличных товаров в трюме не сыщется». Никита рискнул и бережно присунулся лицом к окошечку, глянул на берег.

«Ах, песьи головы, свинячьи уши! – едва не вслух ругнулся Никита. – Уцепили-таки телку за холку!» – Он понял причину радостного крика кизылбашцев – обломки разбитого челна на канате поднесло водой к берегу, персы увидели его, подобрали и теперь, чуть не пинаясь, спорили, кому первым взбираться на пустую палубу.

– Ишь ты, ведомо псам, что первому хватать из котла мясо, а последнему хлебать пустой отвар! – невольно улыбнулся Никита. – По мне не худо было бы, кабы вы и друг друга из пистолей постреляли! Вона-а, должно, этот чином знатнее, прикрикнул на собрата, полез в воду первым!

Один из кизылбашских воинов, хлюпая ногами, вошел в море, сперва по колени, потом по пояс, а потом погрузился по плечи и поплыл, перебирая руками по канату, скоро пропал под кормой, невидимый для Никиты. Второй, сунув пистоль первого кизылбашца себе за пояс, стоял по колени в воде, удерживая канат и ожидая, пока первый не вскарабкается на палубу. Через время послышались глухие толчки каблуками о доски, должно быть, перс подтягивался, помогая себе ногами. А вскоре раздалось и его радостное восклицание:

– Бисйор хуб!¹⁷ – и еще что-то повелительное, и даже грозное, прокричал в сторону берега. Его напарник ответил: чишм¹⁸ и пошел следом в воду, подняв пистоль в левой руке, чтобы не замочить порох.

«Ну, Никита, держись теперь! Не в кулачную драку кидаться у самарского кабака, не токмо зубы выплевывать да чужую бороду клочками драть!»

Влезли, один в синем, другой в красном теплых халатах, помахали руками, должно быть, для согрева после прохладной купели и, галдя что-то веселое, разошлись по заваленной обломками снастей палубе. Синий остался осматривать корму, а красный поторопился на кичку, к кладовой, где хранился общий стрелецкий скарб полусотни.

Никита отступил от двери к чуланчику, стиснул до боли в пальцах рукоять тяжелого топора... Синее пятно закрыло выход из тесной каюты, просунулось. Из-за двери выглянула загорелая усатая голова в блестящей мисюрке¹⁹. Из-под мисюрки зыркнули два настороженных глаза, но Никиту во тьме и за дверью сразу не приметить. Кизылбашец сделал шаг в каюту... Размахиваться было негде, и Никита со всей силы ткнул острым углом топора под бритый подбородок перса – успел приметить, что под распахнутым халатом кизылбашца надета железная рубаха из мелких колечек.

Забулькав горлом, сраженный насмерть кизылбашец рухнул на пол, головой в каюту, ногами за порог, застучав по доскам тупоносыми исфаганскими малеками²⁰ из мягкой кожи с пряжками. Красный перс, уже с кички струга, обернулся на этот странный стук, крикнул:

– Тюфянчей²¹ Хасан?

Никита, прикрыв рот ладонью, засмеялся, и красный, решив, что его старший товарищ просто запнулся о порог и завалился, отвернулся к двери в носовой части кладовой. Никита быстро втянул побитого перса в каюту, кинул на лавку лицом вниз, чтобы не испачкаться кровью, сдернул мисюрку, примерил – гоже! Выворачивая обвисшие руки, стащил халат, напялил на себя, скинув перед этим свой кафтан – тесноват! Ладно, что по швам не расползается. Поднял с пола оброненную кизылбашцем саблю, торопливо вынул из-за его пояса пистоль, проверил, не просыпался ли порох у запального отверстия.

«Слава Богу! – порадовался Никита, примеряя правую руку к чужому клинку. – Эх, кабы теперь еще и бороду сбрить!» – успел подумать он – побитый тюфянчей имел усы, а не бороду. Железную рубаху снимать времени не было – второй кизылбашец ходил по стругу, надобно его как-то отослать от себя подальше, к Аллаху или к дьяволу, без разницы, лишь бы с глаз долой!

Никита выглянул из каюты: красный перс возился с замком, не зная, как его отпереть, а клинком сорвать скобу не решался, чтобы не попортить боевое оружие. Наконец, плюнув в досаде, изрек страшное ругательство:

– Педер сухтэ!²² – и пошел к корме, продолжая что-то выговаривать, а когда совсем близко подошел к двери, Никита, спиной вперед, вылез из каюты и, резко обернувшись, со

¹⁷ Бисйор хуб – очень хорошо!

¹⁸ Чишм – слушаюсь.

¹⁹ Мисюрка – египетский шлем без забрала.

²⁰ Малеки – башмаки.

²¹ Тюфянчей – близкий к русскому «сын боярский», служилый человек.

²² Педер сухтэ – твой отец горит в аду.

словами «салам алейком!»²³ взмахнул саблей, норовя одним ударом срубить кизылбашскую голову.

Сабля со свистом скользнула по верху мисюрки, сбила ее на палубу – каким чудом кизылбашец успел среагировать, пригнуться, Никита даже не сообразил. Знать, наскочил на бывалого воина! Не успел Никита вновь вскинуть саблю, как перс скакнул прочь, выхватил свою – сталь звякнула о сталь, и оба удара оказались столь сильными, что клинки на миг словно застыли в воздухе, потом с визгом разошлись, снова скрестились, испытывая прочность закалки и рук.

Бой обещал быть трудным, долгим.

– Ах ты, черт неотмытый! Чтоб тебя громом убило! – разъярился не на шутку Никита, нанося удар за ударом, стараясь не упускать инициативы в бешеной сабельной рубке, когда, сплотившись на одну секунду, потом и в годы не исправишь упущенного...

– Пэдэр сэг!²⁴ – рычал кизылбашец, в злобе кривил сухое, солнцем высушенное лицо с усами и оскалом крепких белых зубов. – Пэдэр сэг! Алла, ашрефи Иран!²⁵ – и прыгал на палубе, словно барс перед рогатым туром, выискивая миг, чтобы нанести смертельный для гяура²⁶ удар.

– Порождение дьявола! – кричал в ответ Никита, видя, что бой идет на изматывание сил, а он после перенесенного шторма и долгой голодовки еще не окреп в полную меру. – Ишь, блоха зубастая, скачешь, будто черт на святой сковородке, не ухватить тебя никак! – И сам ойкнул, когда конец кизылбашской сабли, им неудачно отбитой после резкого удара, чиркнул по мисюрке на его голове. – Ну, алла, берегись! – Никита отпрянул на шаг, потом еще на один, левой рукой выхватил из-под халата пистоль и взвел курок.

– Иа, алла!²⁷ – вскрикнул кизылбашец, поднял к голове руку, словно так можно было защититься от пули, а правой неожиданно сильно, как дротик, метнул саблю, целясь Никите в грудь. Тут уже Никите пришлось проявлять всю свою ловкость, он кинулся плашмя на палубу, кизылбашец к нему, но бабахнул выстрел – падая, Никита ударил оружием о доску, курок сработал, и пуля, просвистев мимо перса, отколола кусок от мачты и унеслась в море. Не успела щепка шлепнуться на палубу, как Никита был уже на ногах, а сабля перса, у него за спиной, торчала в стене каюты, правее двери.

Что-то в отчаянии крикнув, кизылбашец в два прыжка достиг правого борта и сиганул сгоряча вниз головой. Плеск воды и вопль человека слились воедино, и, еще не добежав до борта, Никита понял, что его супротивник угодил головой о камень, едва прикрытый водой.

Он подошел к краю струга и, тяжело дыша, глянул вниз – сквозь светло-зеленую полосу воды виднелось красное пятно, слегка покачивающееся из-за движения волн то к берегу, то от берега...

– Фу-у, надо же... – и головой качнул в удивлении, что и среди нехристей, оказывается, есть такие отчаянные рубаки. – Малость не остриг меня по плечи! – Никита сдернул мисюрку, провел пальцем по свежему шраму на металле, неожиданно для себя поцеловал чужую, невесть где и кем сработанную железную шапку. – И то славно, что греха на душу не взял, не срубил безоружного... То его Аллах так распорядился.

Усталость – даже колени мелко подрагивали – это Никита только теперь заметил – заставила его опуститься на фальшборт, спиной к красному пятну под водой. Посидел так минуту,

²³ Салам алейком – здравствуй.

²⁴ Пэдэр сэг – собачий сын.

²⁵ Ашрефи Иран – за бога, благородная Персия!

²⁶ Гяур – неверный, то есть не мусульманин.

²⁷ Иа, алла! – Бог ты мой!..

две, вновь пристально оглядывая берег, – вдруг всполошил кого-нибудь случайный, при падении, выстрел.

– Надо же! – воскликнул с удивлением Никита и посмотрел на торчащую в стене саблю. – Ловко как метнул, а?! Замешкайся альбо пропусти момент, когда он перевернул рукоять сабли в пальцах, чтобы метнуть от плеча... Не иначе, как милая Параня молилась за меня в эту минуту, – решил Никита, потому как самому было не до молитв тогда. – Расселся, – проворчал он, вставая с фальшборта. – Ехать надо отсель подальше, покуда Господь благоволит ко мне.

Он торопливо возвратился в каюту, залитую кровью убитого тюфянчя, вытряхнул покойника из кольчуги, натянул ее на себя, сверху надел легкий и короткий полукафтан, снятый с перса, проверил, нет ли где на синем халате следов крови, успокоился, надел и его. Потом сменил свои штаны на голубые же просторные шаровары, влажные после недавнего купания кизылбашца в море. Примерил и тупоносые малеки – чуток тесноваты, да сгодятся. Свою одежду сунул в рундук, нащупал тяжелую кису у перевязи побитого им врага, в ней приличное число персидских монет-аббаси, припрятал кису под халат.

– Сгодится в дороге, – порадовался такой находке. – Все лучше, чем российские деньги предъявлять на базарах.

Он перезарядил пистоль, взял запас сухарей, колбас и окорок с остатком хлеба и с багажом ловко соскользнул по канату в воду, захватив пистоль зубами за скобу, чтобы не замочить порох. Ногами дна не достал, поплыл на боку, держа в левой руке над водой пистоль и пороховницу. На берегу наскоро отжал халат и шаровары, подошел к коням. Те косились, чуя что-то неладное, но Никита знал толк в конях, умел их успокаивать. Он отвязал поводья от кривого дерева, похлопал каждого по теплой шее, угостил кусочком хлеба того и другого, вскочил в седло вороного, а буланого привязал к седлу за повод.

– Ну, с богом, родимые. – Никита тронул коня пятками в бока, пустил его сначала легким бегом, а потом и галопом, норовя уйти подальше от струга, ставшего могилой для двух шахских гонцов из Исфагани к гилянскому хану. Эту грамоту Никита сыскал в грудном кармане полукафтана убитого им тюфянчя Хасана. Если бы еще он мог изъясняться по-кизылбашски, а то, кроме известного в Астрахани каждому мальцу «салам алейком» да еще «иа алла», не знал ни словечка. Бороду он кое-как сбрил в каюте острым ножом, взятым у Хасана, усы оставил, а вот часто ли в здешних горах попадаются синеглазые гонцы да еще с такими вот русыми волосами? Это можно было проверить только собой...

– Слух был между астраханцами, – кстати и с долей облегчения вспомнил Никита, – что у персидского шаха есть на службе изрядное число беглых россиян, принявших мусульманскую веру! Мне же от христианства не отречься, как не отречься ни от родной земли, ни от Парани с детишками, даже если и на пытку за это идти! – И он легонько подбодрил вороного коня плетью. Роковой струг и все, что на нем случилось, остались за скалистым выступом, а Никита выбрал путь на север, к России, мимо многих кизылбашских городов.

* * *

Кабы знать, где упасть!

Никита счастливо миновал уже несколько маленьких кизылбашских городков на берегу Хвалынского моря и в близости от него, как дорога вела, всякий раз стараясь проехать их без лишней задержки и разговоров, и к концу недели пути въехал в шумный торговый Решт, где на каменном берегу стоял просторный дворец шаха, служившего ему, когда властелин Ирана, совершая поездку по стране, приезжал в этот город. На стенах дворца стояли грозные на вид, но давно умершие от бездействия пушки с темными, пылью и мусором забитыми стволами.

На каменистых наклонных улицах тесно лепились богатые купеческие дома, вдоль дворов, огороженных невысокими каменными стенами-изгородями, беспрестанно сновали всад-

ники верхом на конях и ишаках, медленно продирались навьюченные верблюды, цепляясь друг за друга и за стены тюками со всевозможной поклажей. Тут и там надсадно кричали ослы, словно дразня друг друга и терпеливых неспешных прохожих.

Никита проехал мимо просторного на взгорке каменного дома, у раскрытых ворот которого садился на коня краснобородый кизылбашец в белой чалме. Поначалу он мельком глянул на Никиту, который в куче других всадников молча спускался к морскому берегу, где по людскому гомону без труда угадывался базар, а потом, высунувшись из ворот, пристально оглядел всадника, коня и, тут же резво взлетев в седло, тронулся следом за ним.

Заслышав за спиной нарастающий грохот колес арбы и предостерегающий крик «хабардар!»²⁸, Никита отжал своего вороного коня – а второго коня он все так же, на случай погони, вел на поводу – ближе к стене. Крашенный сивобородый кизылбашец, с трудом удерживая лошадь и арбу, которая сама катилась к базару, пронесся мимо всадников, султаном турецким восседая на куче мягких мешков с бараньей шерстью.

Никита свернул влево, следом за арбой с шерстью, надеясь на базаре прикупить себе продуктов. Когда вслед за арбой проехал к каменным лавкам, до него неожиданно долетели на диво нежные, такие родные зазывные слова:

– Подходи, честной народ! Примерь бесценный кафтан, сербаз шахсевен!²⁹ Купи своей несравненной женке бусы, не пожалеешь! – И купец вытянул навстречу подъехавшему Никите связку разноцветных бус на шелковых нитках. Никита, чувствуя, как от радости гулко застучало под кольчугой сердце, соскочил с коня и, держа подогнутую руку у самой конской морды, подошел к лавке. Толстенький, голубоглазый, как и Никита, купчина с окладистой русой бородой, с широким носом и крупной родинкой в самом центре левой щеки, завидев подходившего к нему справно одетого, запыленного всадника – шахского гонца, еще яростнее затряс связкой звонких бус, протянув их из проема лавки, готовый надеть собственноручно на шею всадника.

Ради бережения Никита огляделся по сторонам: народу много, лишь у соседней лавки одиноко укрытая с головы до ног персиянка в ярко-синем платье и в таких же шелковых шароварах торговала что-то у носатого тезика³⁰.

– Купи бусы женке альбо невесте, бесстрашный сербаз шахсевен! – Купец, чувствуя богатого покупателя, не скупился тому на похвальные слова. – Видит аллах, у такого витязя и женка красавица, подходи сюда, начнем торговаться!

– Мир дому твоему, брат! Да спасет Господь нас обоих в чужой земле! – негромко приветствовал Никита россиянина, а тот от неожиданности уронил бусы на землю. Никита наклонился, поднял украшения и с улыбкой подал их растерянному и изумленному купцу – тот как говорил перед этим, так и замер с открытым широким ртом. – Не мечи бусы в пыль, брат, а подумай, как мне у тебя найти пристанище да бережение, чтобы в Астрахань выбраться из чужой гиблой стороны.

Купец пришел-таки в себя, положил бусы в коробку, закрыл ее и широкой грудью налег на прилавок. Спросил с прищуром:

– Аль беглый? Сам знаешь, что за укрывательство беглого вора³¹ и самому спасителю опосля от попыток не уберечься, когда к воеводе поволокут на спрос с пристрастием...

– Стрелец я из сотни Михаила Хомутова, из Самары, – пояснил Никита опасливому купцу, не видя, с каким вниманием прислушивается к их разговору персиянка в синих шароварах – даже торговать перестала, отдав покупку рослому слуге с корзиной. – Посланы мы этим летом супротив донских казаков в Астрахань. Да неудача вышла – в минувший днями шторм

²⁸ Хабардар – берегись.

²⁹ Сербаз шахсевен – солдат, любящий своего шаха.

³⁰ Тезик – купец.

³¹ Вор (стар.) – мошенник, плут, обманщик.

угнало наш струг в море, прибило к кизылбашскому берегу... Двое персов сунулись было на палубу, да Господь дал силы мне их утишить... теперь в их одежде к дому пробираюсь.

Ему бы оглянуться – увидел бы, как конный кизылбашец в белой чалме, который следовал за ним почти с самой окраины Решта, торопливо подъехал к дому у края базара, где постоянно обитал дарага³², юркнул в дверь и пропал там на время...

– Так я же твой сосед, самарянин Никита! – воскликнул обрадованно купец и огладил бороду, зная, что за вызволение стрельца из беды и ему будет немалая милость от астраханского воеводы. – Я сам-то из Синбирска, посадский человек Максим Леонтьев, а здесь приказчиком синбирского гостя Степана Тимофеева, слыхал небось о таком? На всю Волгу его имя купцам ведомо... Как же нам быть с тобой, стрелец? Здесь, в Реште, на сей день торгуют четверо российских купцов. Мы еще по весне на морских стругах сплыли сюда. А струги наши у северной стороны порта стоят. Видишь, мачты на волнах покачиваются? Самый дальний струг – мой. Давай так сделаем, – и Максим Леонтьев ладонью о прилавок прихлопнул в подтверждение принятого решения, – как стемнеет, приходи туда. Только крадись бережно, чтоб доглядчики не приметили. Их здесь от шаха да от гилянского хана кругом столько понатыкано, как въедливой лебеды на крестьянском поле, иной раз и не продрасть мимо.

– Спаси Бог тебя, Максим, непременно приду вечером, а теперь мне куда-то надобно...

Что задумал делать теперь Никита, о том Максим Леонтьев узнать не успел – из дома рештского дараги гурьбой вывалились вооруженные кизылбашцы и кинулись к его лавке. И он смекнул, что не за его товарами, а за выслеженным ханскими ярыжками стрельцом. Побледнев в один миг, он отшатнулся от проема.

– Берегись, Никита! – успел прошептать Максим и тут же захлопнул тяжелую створку лавки, у которой завязалась нешуточная свалка. Упрежденный, Никита успел выхватить саблю, нырнул под брюхо своего вороного коня, а вдогон ему чей-то острый клинок секанул по левому плечу, раскроил голубой халат и полукафтан, да не осилил железной кольчуги.

Зато Никита ловко срезал замешкавшегося сербаз, поднял его саблю и прижался спиной к каменной стенке лавки.

– Ну, хватайте, песьи головы, лисьи хвосты! Хватайте российского стрельца! Нате вам, еще и еще! – Никита раз давал удары, отбивался сразу от троих ханских сербазов да так удачно, что одного поранил в лицо, и тот, кровяня пальцы, поспешно отбежал. На его место втиснулся свежий сербаз, да еще до десяти стражников толклось рядом, не имея возможности принять участие в захвате гяура, переодетшегося в священную одежду персидского воина: не знал Никита, что в Реште жил брат срубленного им на струге тюфянчя Хасана, а тот узнал коня, узнал и наряд шахского гонца. Кабы переодеться Никите там, на струге, в наряд не синего, а красного кизылбашца да ехать только на буланом коне, глядишь, по-иному бы теперь сложилась его судьба...

– Педер сухтэ! – вскрикнул еще один сербаз и, зажав рассеченный Никитой локоть, отскочил прочь.

– Хабардар! – кричали сербазы, не участвовавшие в рубке, упреждая дерущихся, когда гяур делал резкие отчаянные выпады.

– Вай, астваз!³³

– Жрите, песьи головы, российский гостинец! Ага-а, не на монаха жирного наскочили, да? Надолго клятый Решт запомнит Никиту!

– Ихтият кун!³⁴

³² Дарага – начальник базарной стражи.

³³ Ах, Господи!

³⁴ Опасайся!

– Салам алейком! – кричал в ответ Никита, чертом вращаясь под сыпавшимися на него ударами, сам ловко отбиваясь двумя саблями и нанося удары правой. Халат на нем уже рассе-чен не только на плечах, но и на груди, на рукавах, несколько раз мисюрка принимала на себя скользящие удары, но Никита чувствовал: еще минут десять продержится он, и чья-нибудь сабля достанет его лица или беззащитной шеи. Потому и хотел продлить драку как можно дольше и продать свою жизнь на глазах толпы в несколько сот человек как можно дороже: да знают кизылбашцы, как может умирать россиянин!

– На-а! – выдохнул Никита, и, отбив удар усатого, молчаливого в драке сербаза левой саблей, сделал длинный выпад, и наискось по голове хватил противника другой саблей. Качнувшись с запозданием, сербаз рухнул на пыльную землю, заливая ее алой кровью из рас-сеченного виска и щеки.

– Наелся, песья голова, чтоб тебя разразил гром! Ну, кому еще русского мяса хочется? – Никита пригнулся, готовый отбить новую атаку, и вдруг из-за чужих спин бухнуло огнем, у соседней лавки дико вскрикнула персиянка, в какую-то долю секунды Никита мотнул головой, и тут, словно сорвавшийся с привязи конь раскаленной подковой саданул ему в левую скулу, красный сполох затмил глаза, и он, разжав пальцы, роняя ставшие непомерно тяжелыми сабли, опустился под каменной стеной лавки, заливая лицо, шею и землю горячей кровью...

Кизылбашцы столпились над поверженным урусом, о чем-то негромко переговариваясь. Зато дородный дарага, пряча пистоль за пояс, крикнул своим сербазам-стражникам:

– Снимите с него сабли с ножами, пистоль и кольчугу с мисюркой – это моя добыча! Ты, верный слуга шаха, забери коней и одежду своего брата, и вы, сербазы, поделите между собой аббаси, которые найдете при гяуре.

Распорядившись так, дарага повернулся к всаднику с белой чалмой и в кумачовом халате, потом удивился, когда увидел, что из кармана побитого уруса вынули свернутую в трубочку бумагу с печатью на шелковом шнуре.

– Что это? – Но увидев печать, дарага упал на колени и трепетно поцеловал оттиск шах-ской власти. – Сам свезу пресветлому хану Гиляна, – решил дарага. – А подлого гяура бросьте на свалку, собаки догрызут, если в нем еще не все сдохло! О аллах, даруй нам и далее победы над неверными! – и дарага вознес к небу трепетные, пухлые от сладкой жизни руки, забыв напрочь о двоих побитых до смерти своих сербазах да о двоих раненых в этой нечаянной драке...

2

Никита, под стать сытому коту, блаженно шурил глаза, улыбался яркому слепящему солнцу на светло-голубом небе, какое бывает над Волгой в неистово знойные июльские деньки. Он лежал на теплых досках струга, разбросав руки и ноги, и отдыхал после долгой работы веслами. Работа изнурительная, но привычная государевым служивым людям, особенно тем, кто нес эту службу в поволжских городах. Почти всякий дальний поход, если только снаряжался он не против набеглых кочевников, направлял ратный путь по Волге. И благо, если был попутный ветер, тогда работал тугой парус, а руки и спины стрельцов отдыхали. Однако если надо было спешить, то и парусу помогали, ухая по воде длинными веслами.

Под днищем струга тихо плескалась вода, легкий ветерок обдувал Никите мокрый лоб и виски. Кто-то из товарищей – не иначе как сутулый стрелец-чеканщик, дружок Никиты и балагур Митька Самара, – балуя, льет из фляги воду в полуоткрытый рот Никиты, и он, не изговившись глотнуть, захлебнулся... Невероятным усилием хочет приподняться с горячих, смолотой залитых в пазах досок, но к плечам словно горные камни тяжкие привязаны. Еще усилие!..

– Черти! Вы что, всей сотней на меня уселись, а? – кричит, озлившись, Никита, рвется встать, но Митька Самара, играючи, кладет ему ладони на плечи, и Никита снова уже спиной на досках, чувствует их тепло и покачивание...

– Ну вот, стрелец, выпил! Глотни еще разок, глотни, легче тебе будет, соколик...

Никита послушно разевает рот, а вернее, рот сам по себе раскрывается, и что-то теплое и вкусное льется в горло. Только странно немного, с чего это у Митьки Самары голос стал таким, будто не мужик он, а дитяtko малое, не возмужавшее еще...

– Куда это мы плывем, Митька? В Самару? Вот славно, братцы! Домой, к Паране скорее. Эх, и соскучился я по женушке, братцы! Аж самому срамно от людей, как соскучился, будто сто лет ее в руках не держал! Ты чего ржешь, Митька? Тебе не понять такого! Должно, у тебя вместо сердца недозрелая свекла в ребра колотится. Ты вот спроси у сотника Хомутова, так ли и он к своей Аннице рвется? А кто это вон там, на бугру, стрельцы? Никак моя Параня на белом коне встречу выехала? Пара-аня-я! – кричит Никита.

– Лежи, лежи, голубок, – издали и неузнаваемо доносятся до него Паранины слова, и сама она, словно пеленой речного тумана закрыта, вдруг пропадает из виду.

Никита сделал отчаянную попытку привстать на ноги, чтобы разглядеть, куда же делась Параня, но ему почему-то повиновался лишь правый глаз – в узкую щель, словно в заборе между досками, он не увидел ничего, кроме тьмы. Вернее, кроме еле различимого серого пятна где-то неизмеримо далеко от себя. Похоже было, что в разрыве между толстыми тучами едва-едва пробивается к людям ночной лунный свет... Никита роптово откинулся на спину и застоялся в предчувствии, что вот сейчас трахнетесь затылком о твердые доски палубы, но голова легла на что-то мягкое, и он не мог понять, когда это Митька Самара, а может, и Еремка Потопов, подсунул ему под голову подушку, а может, и свернутый аккуратно кафтан... Что же с ним случилось? И где это он умудрился – не в кузне ли пушкаря Ивашки Чуносова? – так обжечь себе левую щеку? Ох как горит нестерпимой болью! И боль эта отдается во всей голове, до тошноты в желудке, будто и туда треклятый огонь достает... А-а, вспомнил! Да это он на пожаре собственного дома так не уберется! Это когда рухнула крыша, а горящий обломок балки чиркнул, наверное, по лицу. А где же Параня с ребятами? Они-то хоть выскочили из дома?

«Пара-аня-я! Вы где-е?» – пытается звать Никита и тут же глохнет от собственного крика. И почему это жгучее кострище? Ведь он только что плыл на струге, грелся под ярким солнцем, а тут вдруг опять непроницаемая тьма! Вместо плеска волжской воды – давящая тьма, глухое одиночество. Хотя нет, когда Никита напрягал слух, стараясь не обращать внимания на отда-

ленный раскатистый гул соборного колокола, который неведь откуда проникал в эту тьму, то различал неподалеку людские голоса. Но кто и что кому говорил, понять было невозможно.

«Лучше колокол слушать, – решил Никита, выпуская сознание из-под напряженного контроля. – Лучше вот так снова лежать на теплой палубе, греться на ласковом солнышке, ну а Митька Самара или молчун Гришка Суханов, у которого есть и корова, и овцы, решили напоить его парным молоком, он не против, пусть только приподнимут немного тяжелую голову, чтобы ему снова не захлебнуться... Вона, какое блаженство-о...» Парное молоко он любит с малого детства, любил полусонным, с закрытыми глазами принять из рук матушки тяжелую кружку пенистого молока, выпить и снова головой на подушку досматривать шальные отроческие сны... И теперь не худо было бы соснуть, только отчего соборный колокол над Самарой так гудит – бом-м, бум-м, бом-м, бум-м, динь-дон-н, динь-дон-нь... Неужто так и спать ему под это гудение и перезвон? Да и спит ли он? Надо спать, а то скоро стрельцам Аникея Хомуцкого менять полусотню Алешки Торшилова на веслах и грести, грести, покудова не затекут руки и не закаменеет спина от усталости... И работал бы веслом наравне со всеми, да жгучая боль левой скулы перекручивает все мышцы тела так, что снова противная тошнота подступает к сердцу, а руки слабеют, словно он лежит в чадном угаре.

Вот опять матушка принесла парное молоко. Матушка, не лей так роптово, ведь я не успеваю глотать... Теплая, густая жидкость течет ему на шею и на грудь. И почему ты, матушка, так часто меня поишь, а? Ведь я только что пил. Хотя в утробе и в самом деле пустота, как в заплечном мешке нищеворода... Спаси Бог тебя, Параня! Как ты догадалась отварить барана с такой вкусной, с чесноком, разварной лапшой! Ее и жевать не надо, сама проскакивает в горло. Паранюшка, приляг рядом, так хочется положить на твою грудь руку... А отчего я тебя совсем не вижу? Ночь на дворе? Ну так лучину засвети, ежели свечи к празднику приберегаешь. Дай мне глянуть на твое милое лицо. Ведь ты у меня совсем не стареешь, хотя и подарила мне наследника Степанка и двух дочек... А-а, я понял, отчего у нас в горнице так темно! Это после пожара. Ну и Еремка, горький пьяница! Устроил ты мне кострище! Не прячь, несчастный ярыжник, очей долу, смотри людям в глаза да за ум берись, иначе и свое подворье когда ни то с дымом по миру развеешь! Спаси Бог детишек, а то сонные погорят! И сам на себя руки наложишь, ежели жив выскочишь... Ну вот, не дали с Еремкой поговорить, опять кормят похлебкой. Ох, Параня, осторожнее! Вона, кипятком на щеку капнула, ожгла до самого уха! Возьми холодную тряпицу, вытри. Вот та-ак, спокойнее, а то все лицо свело от боли. Ха-ха, утроба моя, будто весенняя Волга, столько воды принимает, а все мало да мало, берега высокие и пустые...

А это кто кричит у моего изголовья? Воевода бранится? А за что? Неужто я службу государеву несу неисправно? Можно подумать, что он меня сонным нашел у воротной башни, через которую в город влезли безжалостные тати³⁵ да разбойники лихие! Ишь, расходился черт в зыбке, крюк из матицы того и гляди вывернет! Скажи ему, кум сотник, что пушай он лучше стрельцов не злит пустяшными придирами, потому как и смирная собака за палку зубами хватает, ежели ей беспрестанно в брюхо тыкать...

– Параня, пить! – неожиданно отчетливо вырвалось у Никиты, и он открыл правый глаз, тут же зажмурил: совсем близко у изголовья стоял витой подсвечник с тремя толстыми свечами. Никита снова осторожно приоткрыл глаз, опять только правый, несколько раз сморгнул, привыкая к свету, увидел темную, склоненную над собой фигуру, решил, что это женка рядом; негромко повторил: – Попить бы, Параня.

– Сей миг, соколик ты мой, сей миг! – ответила фигура грудным нежным голосом, несхожим с Параниным. – Пей молочко, соколик, пей. Молочко силу дает, да и рана быстрее затянется на тебе. Слава Господу, наконец-то очнулся!

³⁵ Тать (*стар.*) – вор, хищник, похититель.

Никита, про себя недоумевая, отчего это рядом с ним чужая женщина, жадно выпил кружку молока, чуть повернул голову вправо: в свете трех колеблющихся огоньков он разглядел женщину, молодую, смуглолицую и на диво с правильными чертами лица, в персидском одеянии, только волосяное покрывало было поднято и заброшено со лба на спину. На Никиту смотрели два веселых, темно-синих глаза, на алых, красиво очерченных губах бегала радостная улыбка, прячась в уголках маленького рта. В ушах вдеты золотые кольца, а на тонкой гладкой и загорелой шее несколько ниток жемчуга, каких у Парани и в жизни, наверно, не будет никогда.

– Очнулся, соколик? – не то спросила, не то с нескрываемой радостью проговорила молодая персиянка, а Никите в большое диво – так чисто и без усилия говорит она на русском языке. – А я было уже отчаялась выходить тебя... Да и хозяин мой бранится едва не каждый день – зачем приволокла покойника в его дом? Где теперь хоронить его будешь? «Не буду я его хоронить, – говорю я ему. – Коль в нем сердце малость тукает, значит, жив, а забота да корм скоро поставят на ноги...» Правда, не так скоро ты очнулся. Вернее сказать, ты и прежде приходил в себя, говорил все с кем-то, Параню все кликал... Женка твоя, да?

Никита слушал персиянку, дивился, а куда делись друзья-стрельцы? Где их струг и почему он здесь?

– Где я? На струге? В темной мурье?

– Нет, соколик. Ты в подвале, в доме рештского тезика. Моего хозяина зовут Али.

– Али? – скорее удивился, чем переспросил Никита Кузнецов. – А как я сюда попал? И где все наши?

Персиянка рассказала, что ей случилось быть в тот день на базаре, совсем рядом, у соседней лавки. Когда Никита разговаривал с купцом из Синбирска, она уже готова была и сама вступить в беседу с ними, да наскочила базарная стража и кинулась хватать его, Никиту, одетого в персидские одежды. Сначала она решила, что кизылбашцы между собой дерутся, а как начал он, Никита, бранить их крепкими словечками, так и догадалась, что это не перс, наш язык малость знающий, а что нехристи единоверца берут... Уследила, куда сволокли его, раздетого да без чувств, а как стемнело, позвала слугу Мурата, прокрались на пустырь. А там собаки уже сватаживались его грызть. Мурат камнями отогнал тех собак, а она ухом к груди Никиты приникла да и уловила, как тукает в нем сердечко...

– Не помню такого, – в растерянности проговорил Никита и слушал рассказ как будто о ком-то другом, а не о самом себе.

– Ухватили мы тебя, Мурат под руки, а я за ноги, да и поволокли домой, в этом сарае укрыли. Рану на лице, что от пули случилась, обмыла, присыпала целебной травой, чтобы воспаление какое не приключилось. Парным молоком поила. По тому времени хозяин мой был в Дербене, товары закупал, по весне хочет в Астрахань плыть. Когда воротился – начал меня бранить. Да недолго мой тезик шумел-бушевал, враз умолк, едва я сказала ему: «Я спасла единоверца! И если узнаю когда, что ты прошел мимо своего единоверца и не протянул руку помощи ему в беде, – не видать тебе больше бесценной жемчужины Ирана, украшения ханской короны», – это он так меня называет, уговаривая принять мусульманство и стать его законной перед аллахом женой. Тут мой тезик и притих, стал смекать, как бы тебя выходить побыстрее, тайно свезти в Астрахань, там и выкуп за тебя взять.

– Какой ему выкуп? – удивился Никита, с трудом улавливая смысл слов говорливой персиянки. – Он меня не в сражении взял!

– И я ему о том же толкую! – живо подхватила молодая женщина, дернув ровными, красиво сурьмленными бровями. – Свезешь, – говорю я тезику, – россиянина на родину, отдашь воеводе, тем и себя от шахского сыска спасешь... Тебя, соколик, по всей округе до сих пор ищут. Гилянский хан облаивает рештских начальников ослами за то, что дали уйти гяуру, который убил шахского гонца. И куда он мог, пораненный, скрыться? На стругах урусов перерыли

все вверх дном, тебя там искали. Так что, соколик, сидеть тебе в клетке еще у Луши, так меня кличут. Ты не смотри, что на мне этот басурманский наряд, я ведь тоже россиянка...

– Устал я, Луша, от твоего говора, – повинулся Никита, чувствуя, как в голове снова загудел соборный колокол. – Потом доскажешь о себе, ладно?...

– А ты, соколик, усни, – притишила свой звонкий, какой-то ликующий голос Лукерья. – Теперь жить будешь. Давай я рану смочу свежим травяным отваром, чтоб струпья отпали и молодой кожей затянулось. Не бойсь, я тому делу сызмальства обучена старой нянюшкой. Да потом и в монастыре училась, после насильственного туда пострижения...

Лукерья еще что-то негромко говорила, но голос ее становился все тише и тише, пока и вовсе не утих, слился с легким плеском волн – окно каменного сарая выходило в сторону Хвалынского моря, до него было не более пятидесяти сажень, и оно манило к себе, манило волей и простором, в котором так легко затеряться и погибнуть!

* * *

Никита проснулся от чьего-то легкого прикосновения ко лбу, с усилием открыл, на этот раз оба, глаза. Огоньки свеч снова ослепили его, но теперь не так сильно и не так больно, как в прошлый раз.

– День и ночь кряду проспал, – тихо засмеялась Лукерья, наклоняясь к нему так близко, что Никита ощутил ее дыхание на щеке и на лбу. От персиянки пахло лепестками дикой розы. Продолговатые серо-синие, а не темно-синие, как показалось ему впервой, глаза Лукерьи каким-то дурманящим зельем наполняли душу Никите, а оторвать от них взгляда было невозможно.

«Колдунья! – с невольным восхищением догадался Никита, чувствуя, как все его тело, до кончиков ногтей на ногах, наполняется расслабляющей негой. – Истинный бог колдунья! Тезика кизылбашского околдовала, в грех ввела перед аллахом... Теперь над моей душой ворожит! Ох, Параня, молись во имя моего спасения!»

– А сон тебе в пользу пошел, соколик, – слегка откинувшись, проговорила Лукерья. – Вона, очи прояснились, да и на щеках румянец высветился, словно у дородного молодца. – А голос нежный, воркующий, будто сызнава хочет усыпить его. – Пора тебе трапезничать, Никитушка. – Она перехватила взгляд стрельца к двери, где молча, скрестив на груди руки, стоял кизылбашец с бритой головой и с длинными усами до самого бородка. И темные глаза неподвижные, будто они направлены на зыбкое пламя свечи. – Это мой верный слуга Мурат, который тебя сюда притащил. На базаре в Реште и в окрестных городах к северу, в Баку и в Дербене развешаны объявления, что за твою голову обещана награда пятьсот аббаси. Но Мурат именем аллаха своего поклялся, что будет молчать. Мой хозяин не велит мне ходить сюда одной, только с ним. – И она снова тихо, ласково засмеялась, наклонившись к Никите совсем близко. Едва губами не касаясь его щеки, глянула глаза в глаза, отчего его тело и вовсе стало каким-то невесомым... – А я ежели прикажу Мурату, так он отвернется к стенке лицом в угол и уши пальцами накрепко закроет... Ишь как смутился, соколик, – колдовским смехом, будто лесной ручеек по камешкам, рассыпался голос Лукерьи. – Ну-ну, не страшись меня, окаанный. – И тут же озорно добавила: – Не съем я тебя покудова... в тебя сила молодецкая не вернулась! Зрила я, как ты с кизылбашцами рубился. Вот когда сызнава таким станешь, тогда и поглядим... на житье наше. – Изогнувшись по-змеиному гибко тонким телом, Лукерья взяла со стола миску и ложку.

Никита силился понять, отчего в голове легкий, пьянящий звон: от слабости и потери крови или от озорного колдовского голоса бывшей монашки, а теперь, наверное, тезиковой наложницы, и не мог. Он покорно глядел в ее красивые, переменчивые – то серые, то голубые, смотря по тому, как падал на них свет, – глаза, открывал рот, принимал ложку с лапшой, заедал

пресной лепешкой. Потом пил молоко, отдыхал, откинувшись на пуховую подушку, и под шум и говор морского прибоя снова быстро засыпал.

– Спи, соколик, спи, – шептала Лукерья и ласково, словно родимая матушка после долгой разлуки, гладила рукой по голове, ерошила волосы со лба к темени. – Спи, и пусть каждая мышца твоего тела набирается силушки. Бог знает, соколик, каков тебе будет путь к родительскому дому... И то счастье, что он у тебя есть, а вот у меня, как у несчастной кукушки, и гнездышка своего нет, ни здесь, на горькой чужой сторонushке, ни там, в милой России...

Дней через десять, как Никита очнулся, его впервые навестил хозяин этого дома. Пришел один, без Лукерьи и без Мурата. Тезик Али остановился у порога, словно страшился оскверниться от неверного уруса. Был Али еще не стар, едва за тридцать, довольно высок ростом и по своему красив, сухощавый, с крупным прямым носом и с короткими черными усами, из-под серой бараньей шапки выбивались темные волнистые кудри. Настороженным, вернее, испытующим взглядом тезик осмотрел Никиту, цокнул языком и проговорил на гортанном ломаном языке:

– Хуб, урус. Карош, ошень карош урус сербаз. Дома этот мой сиди еще, кушай много, на нога вскакивай быстро-быстро! Да! Аллаху акбар³⁶, домой к свой жена скоро морем ехать будешь.

У Никиты сердце запрыгало от этих обнадеживающих слов. Неужто тезик Али и в самом деле надумал отвезти его в Астрахань? И передать тамошнему воеводе? То было бы святое дело, и он, Никита, мог бы назвать кизылбашского тезика добрым побратимом, хотя молятся они разным богам. Но родство ведь бывает и по крови, и по ратной верности, а не только по вере! А случись у тезика какая тяжкая беда, неужто он, Никита, не протянет ему братскую руку? И не он один, а и добрый десяток его верных друзей в Самаре!

Все это Никита взволнованно выговорил тезику, приподнявшись на локте в постели.

– Иншала, урус, иншала... Если Бог захочет так, – пояснил Али урусу свои слова. Еще раз оглядев Никиту и не сказав более ни слова, Али затворил за собой дверь.

Никита, блаженно улыбаясь от надежды на скорое возвращение домой, откинувшись на постель, бережно гладил через повязку пулей порченную левую скулу, слушал морской тихий прибой и мнил себя уже на палубе торгового корабля, который, спасая его от ханского сыска и расправы, везет вдоль кизылбашских берегов на север, в родимую сторонку, к Паране и к детишкам...

Минуло еще три недели. Никита заметно окреп, уже вставал с постели и, по давней привычке, по утрам разминал руки, приседал, радуясь тому, что крепнущее тело обретает былую послушность и силу. И вот однажды, близко к ужину, к нему пришли взволнованная Лукерья с каким-то узлом в руке и ее хозяин, тезик Али. Али снова не прошел в комнату, привалился плечом к косяку и замер с каменно-неподвижным лицом, словно надел глиняную маску, что привело Никиту в некоторое смущение – уж не поссорились ли они между собой? И только глаза тезика, которые двигались вслед за перемещением бывшей монашки, выдавали в нем живого человека. Никита не посмел вступать в расспросы, пусть дело покажет, в чем причина такого поведения кизылбашца.

– Вот и улетаешь ты, соколик, из каменной клетки в родимые края, – заговорила вроде бы весело, а глаза печальные, это Никита хорошо видел, потому что Лукерья вновь присела у его кровати, в изголовье. – Али едет в Астрахань и обещал под клятвой, что свезет тебя к воеводе. Кланяйся землице нашей, божьим храмам.

Никита с приходом тезика и Лукерьи поднялся с постели и теперь сидел, поглядывая то на взволнованную, смуглолицую россиянку, то на ее хозяина. И невольно выдав свои надежды, горячо выговорил, забывшись, что и тезик немного смыслит в их речи:

³⁶ Аллах велик.

– Что же сама не едешь в Астрахань?... Вместе с мужем? Покудова он торговал бы там, ты бы побывала на родной сторонущке...

Лукерья грустно улыбнулась:

– Вона как ты обманулся, Никитушка... Да только тезик Али мне не муж покудова. Покудова я не приняла его мусульманскую веру. А веру мне менять ох как не хочется!

– Не муж? – У Никиты от удивления лицо приняло, должно быть, столь глупое выражение, что Лукерья расхохоталась. И даже сурово-каменный кизылбашец чуть приметно усмехнулся.

– Да, Никитушка, не муж он мне, а... вроде бы за старшего брата – опекуна, что ли. А на родину я не еду оттого, что нету у меня там ни единой родной души. Вот ты, должно, думаешь, что я лицом смуглая от здешнего загара, так?

– Так, – подтвердил Никита, ничуть не сомневаясь.

– Нет, соколик. Я родом по моей матушке с Малороссии, а батюшка мой был воеводой на государевой службе, оборонял от польского короля город Вильну. Да только ратной силушки у него не достало отбить сильный приступ. Вот и надумал мой батюшка взорвать замок, для чего повелел вкатить в подвал десять бочек пороха. Однако сыскались изменщики, они ухватили воеводу и привели его к королю. Но и тут мой батюшка не поклонился Яну-Казимиру, тогда тот, видя его гордость, не стал сам его спрашивать, а прислал своего вельможу со спросом, какой милости он ищет у короля? На это мой батюшка ответил, что никакой милости от короля не ищет, а желает себе казни, как верный слуга государя. И казнил батюшку моего, князя Данилу, его же собственный повар, потому как не хотел он смерть принять от чужой руки, и похоронили его в Духовном монастыре. Опосля матушке моей, княгине Анне Кирилловне, сказывали пришедшие от тех мест верные холопы, что девять ден люди видели, как обезглавленный мой батюшка расхаживал около своей могилы... Все оттого, что никто из близких не пришел его проводить и не посетил его могилу...

Лукерья, не сдержавшись, уткнула лицо в ладони, плечи ее мелко затряслись от рыдания. Никита вскинул глаза на тезика Али, потом осторожно тронул молодую женщину за плечо, сожалеючи проговорил, невольно подумав, что и на ее, Лушину, могилу здесь никто из родных не придет:

– Даст Бог, ему за муки такие и за верность государю уготовлена в раю утешительная жизнь.

– О том и матушка молилась перед смертью, – Лукерья отняла ладони от мокрого лица, скорбно улыбнулась. – Да как получила от моего батюшки предсмертное письмо, так через месяц ее и не стало. О ту пору мне минула всего двенадцатая весна. – Лукерья концом цветастого платка вытерла мокрые щеки, глаза, с извиняющейся улыбкой посмотрела на Никиту, потом продолжила рассказ о себе, словно боялась, что если не расскажет, то память о ней на родной земле и вовсе сгинет, а так хоть этот сердцу милый человек будет о ней время от времени вспоминать. – Вот тетушка, моя опекунша, и надумала отдать меня в монастырь, несмысленую. Так-то силком и постригли... Ходила я, молоденькая, собирала мирское подаяние на Божий храм. Тут меня на Боровицком холме, близ Вознесенского монастыря³⁷, в один день и повстречал тезик Али, подарками улещал, чтоб бежала я с ним из Москвы. Да не подарков мне надобно было, а воли! Истосковалось, едкой сажей покрылось девичье сердце в каменной монастырской клетке! Вот и бежала с ним, парнем переодевшись. Уговорились в Астрахани остановиться, где он обещал принять христианство и обвенчаться со мной. Да схитрил тезик, сюда завез и, напротив того уговора, принуждает принять его веру и стать законной женой.

³⁷ Вознесенский монастырь был заложен вдовой Дмитрия Донского в 1393 году. Впоследствии монастырь стал усыпальницей великих князей, царей и цариц. В 30-е годы XX века монастырь был взорван вместе с еще более древним Чудовым монастырем.

– Неужто согласишься веру своего отца переменить? – с каким-то испугом спросил Никита и снова устремил строгий взгляд на тезика, который плотно сомкнул губы, так что черные усы надвинулись на рот – разговор начал принимать для него не совсем приятный оборот, и, похоже было, он намеревался в него вмешаться.

– Таких здесь много, Никитушка, кто по разным причинам бежал из России. Иные так живут, в христианстве, и для них у здешних мечетей висят иконы, рядом с иконами армян и грузин. И тех икон никто из властей да и простолюдинов не разбивает. А иные и веру переменили, полуперсами стали, и в службе у здешнего шаха состоят. Ну, да Бог им судья. – Лукерья, привстав с ложа, на котором сидела, и как бы подводя итог своей неожиданной исповеди, ласково попросила: – Коли доведется быть в Москве, поклонись тамошним церквам от меня, грешницы, что кинула их, служение Господу поменяв на вольную жизнь...

Лукерья положила на столик узел, сама же и развязала – какие-то высохшие коренья, блестящий горшочек. Опустив глаза, бывшая монашка разбросала причудливо скрученные темные корешки вокруг теплого горшочка, из которого шел ароматный запах, отдающий полынью и мятой, потом осторожно опустилась на колени сама и то же повелела сделать Никите.

«Вот, теперь учнет колдовство, – с невольным страхом за свою душу подумал Никита, а сам покорно, словно малое дитя, сложив руки на колени, опустился напротив Лукерьи. – О чем ворожить удумала? Неужто, чтобы и я здесь остался? Так сама же просила поклон родимой сторонке передать...»

Лукерья, полуприкрыв свои дивные, теперь такие нежно-голубые от прямого света глаза, провела ладонями над горшочком раз, другой, третий, потом огладила влажными от пара пальцами лицо сначала себе, потом, наклонившись над столиком, и Никите – он с замирающим сердцем ощутил неизъяснимое волшебство от этого прикосновения теплых, слегка вздрагивающих пальцев молодой девушки, а не тезиковой женки, как решил прежде. И помимо воли вздрогнул, когда Лукерья, все так же с полуопущенными темными ресницами, чуть шевеля полными губами, тихо заговорила:

– Как ложилась спать я, раба Божья Лукерья, в темную вечернюю зарю, поздним-поздно; как вставала я, раба Божья Лукерья, раным-рано; да умывалась я ключевой водою из студенца³⁸ родимой мать-земли, утиралась я белым платом родимой матушки моей. Да пошла я, раба Божья Лукерья, из дверей в двери, из ворот в ворота и вышла в чистое поле да в раздолье. В чистом поле-то охорошилась я, на все четыре стороны поклонилась, на горяч камень Алатырь³⁹ становилась, крепким словом заговорила, чистыми звездами обтыкалась, темным облаком покрывалась...

Лукерья творила свой заговор, плавно проводя руками над горшочком и кореньями. Никита следил за этими чарующими движениями, а кожей лица чувствовал на себе недобрый взгляд кизылбашского тезика, догадываясь, какие страсти ревности кипят в его горячем сердце, если рука сама по себе то и дело тянется к кинжалу.

«И то понять можно тезика, – мысленно соглашался с кизылбашцем Никита. – Знать, полюбила ему прелестная россиянка так сильно, что не смеет руку на нее положить помимо ее согласия. И меня погубить не отваживается, чтобы ее не потерять вовсе, зная крутой нрав Луши...» И невольно вздохнул с тягостным сожалением, что еще какой-нибудь час, и он никогда больше в жизни не увидит этого дивного смуглого лица, красивого гибкого стана, не ощутит больше на щеке прикосновения этих ласковых заботливых пальцев!

– Заговаривала я, раба Божья Лукерья, – тихо говорила между тем Луша, и Никита снова переключил внимание на движения ее рук, – своего названного братца Никитушку о сбережении в дальней дороге: крепко-накрепко, навек, на всю жизнь! Кто из лугу всю траву выщипет, из

³⁸ Студенец – родник.

³⁹ Алатырь – загадочный камень, упоминаемый в сказках и заговорах.

моря Хвалынского всю воду выпьет и не взалкает, и тот бы мое слово заговорное не превозмог, мой заговор не расторг. Кто из злых людей его обзорочит и обпризорит, околдует и испортит, у того бы тогда из лба глаза выворотило в затылок; а моему названому братцу Никитушке – счастливая путь-дороженька на родимую сторонушку, доброе здоровье и любовь-счастье единственное по гроб жизни своей...

Лукерья еще раз огладила согретыми над паром ладонями лицо Никиты, провела пальцем по нежной чувствительной коже шрама от скулы и до уха, заглянула ему в глаза своими тоскующими глазами, хотела что-то сказать, но от порога торопливо шагнул тезик Али, который так и не произнес за все время ни слова. Он легонько тронул Лукерью за плечо, и она очнулась от забытья, словно из другого мира и с другими видениями возвратилась в этот каменный полутемный сарай.

Оба разом встали из-за стола.

– Пора тебе, Никитушка. Дозволь поцеловать тебя, как брата, на дороженьку... Диву даюсь я, братец, тому, что вещает мое сердце. А вещает оно, что свидимся мы с тобой при столь же странных обстоятельствах, как свиделись здесь, в кизылбашском Реште.

– И дай-то Бог, чтоб вешее сердце не обмануло тебя, – ответил искренне Никита, чуть склонился. Лукерья взяла ладонями его голову, горячими сухими губами коснулась лба, перекрестила и поспешно, словно оборвав в душе какие-то сомнения, покинула сарай. Тезик вынул из мешка довольно старый, но теплый халат, поношенную баранью шапку, сапоги с тупыми носками и знаком дал понять, чтобы Никита все это надел на себя.

– Надо же, – подивился Никита, облачившись в одежду, – ровно по мне все меряно... Ну, хозяин, спаси тебя твой аллах за хлеб-соль, а я в долгу перед тобой не останусь, помани мое слово, – и поклонился по русскому обычаю рукой до глиняного пола.

Али сверкнул белозубой улыбкой, но лицо оставалось все таким же, словно замороженным, и глаза непроницаемо черными, бездонными, под стать морской пучине в безлунную ночь. Дрогнуло сердце Никиты от неотзывчивости кизылбашского тезика, да успокоил тут же сам себя – должно, характер такой у перса, скрывать свои чувства за внешней суровостью. «А может, рад-радешенек, что разлучает наконец-то нас с Лушей... И я бы ревновал до дикости, доведись судьбе поменять нас местами. Ох, Луша, Луша, занесла тебя бесшабашная натура невесты в какую дикую страну, и вырвешься ли, соловушка, из этой каменной клетки?»

– Идем, Али, – кашлянув в кулак, проговорил Никита и вслед за тезиком ступил за порог жилища, где он, можно сказать, воскрес из мертвых к жизни. Вышел на подворье, хватил свежего морского воздуха и едва не опьянел.

– Ох ты-ы, благодать-то какая! – прошептал он, сделав несколько глубоких вдохов. – Морем пахнет тако же, как и у нас в Астрахани! – И пошел, сдерживая нетерпение, чтобы не ткнуться в спину тезика. Али шел бережно, во тьме безошибочно ориентируясь в узких переулках, беспрестанно оглядываясь по сторонам, особенно когда проходили мимо вымершего, казалось, шахского дворца с высоким минаретом пообок жилых строений. Повернули в тесный, только для двух пешеходов, переулок – ущелье между двумя каменными изгородями и начали наконец-то спускаться вниз, к темному и такому мирному морю, через которое широкой золотой дорогой пролегло зыбкое лунное отражение, рядом с кромкой моря узкое и яркое, а дальше к горизонту расширяющееся и пропадающее в темной бескрайности.

«Тезик так далеко обходил пристань из опаски, наверно, от шахских доглядчиков, которые стерегут берег от тайных выездов», – догадался Никита, сначала удивленный тем, что не прошли сразу к пристани, до которой было рукой подать от сарая.

У берега стоял челн, то и дело подкидывая нос на волне. За веслами темная фигура человека. Завидев их, выходящих из узкого проулка, гребец привстал и уперся багром в дно, чтобы челн вплотную присунулся кормой к мокрой полосе песка.

Али жестом велел Никите пройти на челн, потом сам сел за кормовое весло, что-то сказал гребцу, и Никита четко уловил имя «Мурат».

«Лушин доверенный слуга на веслах», – догадался Никита, а когда челн оторвался от земли, увидел в полуверсте поодаль от сияющего редкими огоньками в окнах Решта небольшой одномачтовый корабль, готовый к отплытию – на бушприте уже поднят носовой треугольный парус, но нижний его конец не закреплен и болтается пока свободно, не надуваясь ветром.

С кормы спустили веревочный трап. Никита первым, а за ним и хозяин корабля поднялись на палубу. Мурат в челне быстро пересек лунную дорожку и пропал, словно утонул в темной зыбкой воде. Тезик позвал кого-то, а сам ушел в каюту на высокой корме. К Никите поспешно подбежал рослый перс, при сабле и с пистолем, во тьме сверкнул белками глаз и начищенной мисюркой, что-то проговорил незлобиво на своем языке. Никита в ответ развел руками – дескать, не разумею я твоих слов. Тогда перс рукой указал в сторону носовой части, где несколько человек в просторных шароварах и в рваных коротких, словно обрезных, кафтанах вертели барабан, поднимая тяжелый якорь на толстом канате.

– Иду, иду, – догадался Никита и пошел за персом, у которого под верхним, накинутым на плечи халатом угадывался грубо сработанный колонтарь⁴⁰. «Должно, личная стража на корабле у тезика Али, – догадался Никита, скользя непривычными сапогами по мокрым, после недавней уборки, доскам палубы. – Куда это он меня ведет? Неужто помогать матросам крутить барабан? Или в трюм?»

Второе предположение оказалось верным. Стражник в мисюрке и в колонтаре, бренча саблём о ступеньки, ловко сбежал по узкому трапу вниз, быстро нащупал во тьме невидимую дверь, за ручку потянул на себя, посторонился, пропуская Никиту, а когда тот шагнул через порог, закрыл за ним дверь и громынул наружным металлическим запором.

«Эко, будто в чужой погреб свалился», – передернул плечами Никита, постоял малое время в надежде, что, обвыкнув, что-нибудь да разглядит во тьме. Но бесполезно, ни единого лучика света, даже толщиной в шильце, не проникало в этот погреб-каюту. Никита, не решаясь шагнуть, наклонился, рукой начал «осматривать» вокруг себя. Быстро нащупал что-то вроде лавки, на которой постелена грубая циновка, а дальше, у стены, соломенная подушка.

«Ложь спать мне, – смекнул Никита и опустился на циновку, с наслаждением стянул непривычные для ног тупоносые сапоги, устроился на неширокой лавке. – Вот и счастлив твой Бог, Никита, стрелец и стрелецкий сын! Пройдет несколько дней, доплывет корабль тезика Али до Волги, бросит якорь под стенами Астрахани, у его кремля... То-то диву дадутся кум сотник Хомутов вкупе с товарищами! Должно, и меня похоронили вместе с Федькой, Кондратием да Степаном! – И содрогнулся от такой догадки. – Неужто Параню как ни то да известили о моей гибели? Ох, Господи, то-то убиваться будет! А Степанка, родная кровинушка, куда же без отцовской руки присунется? Уже знает цену родителю, тако же загорюнится! И что делает теперь Параня, одна-одинешенька в недостроенном и нежилом доме? Одна надежда, что матушка Орина в меру сил подмогнет в горести, за девочками присмотрит, ежели Параня рукоделием начнет зарабатывать на хлеб... А она у меня дивная мастерица ткать и вышивать. А может, и не уверует Параня в мою смерть, на Господа положится? Бог даст силы, так и с чертом потягаемся, – подбодрил себя Никита. – Покудова я, похоже, у Господа за пазухой, в добром бережении. И Луша на меня крепкий заговор положила, – вспомнил Никита смуглолицую, красивую и озорную нравом своим бывшую монашку. – Надо же! Княжеская дочь, а по злой воле родной тетки вона где очутилась... Без титула, без богатства и почета! Увидимся ли? Загадывала ведь, что непременно увидимся».

Никита почувствовал, что корабль закачал на морской зыби, – знать, снялись с якоря и пошли в море.

⁴⁰ Колонтарь – боевые доспехи из металлических пластин, скрепленных между собой железными кольцами.

«Прощай, Луша, – снова отдался мыслям о своей спасительнице Никита. – Жив буду, непременно навещу Москву и поклонюсь от твоего имени бывшей твоей монастырской темнице... И поминальную службу закажу за упокой души князя Данилы и княгини Анны Кирилловны... Эх, а что же я фамилии-то у Луши не спросил? Вот незадача! Ведь мог бы и тетюшку ее навестить, об Луше рассказать, что жива-здорова. А может статься, и по ней тоже поминальные свечи перед иконой ставят, как о покойнице молятся... Но я-то знаю, что Луша жива, о родимой сторонке тоскует». Никита вспомнил прощальный поцелуй Лукерьи, и почудилось, что тепло ее губ все еще греет ему чело, улыбнулся и с теми мыслями неприметно для себя уснул.

Разбудили его подергиванием за ногу. Вскочил, протер глаза, сел на лавке. В сумрачном проеме двери – свет в трюм проникал сверху, через проход с трапом – стоял все тот же охранник в колонтаре, неразговорчивый, с длинным смуглым лицом и на диво горбоносый, каких среди кизылбашцев не часто встретишь. Охранник принес еду: кусок отварной солонины, пресные лепешки, воду в кувшине, три крупных пахучих яблока.

Корабль покачивало с боку на бок, и Никита догадался, что идут они вдоль берега, на север. Он перекрестился, присунулся к небольшому столику, который был виден теперь у изголовья лавки. Перс отошел от двери в коридорчик и замер, скрестив руки на груди, давая понять, что будет стоять до окончания завтрака. Никита не заставил себя долго ждать, проголодался уже изрядно. Возвращая посуду, знаком руки показал, что хотел бы с ним подняться наверх. Охранник покачал головой, нельзя, дескать.

– Отчего нельзя? – недоуменно проворчал Никита, готовый силой выйти на палубу и посмотреть, в самом ли деле на север идет корабль. Но потом сообразил: да ведь он под большим секретом жил в доме тезика Али, втайне был ночью выведен из города, потому и надо быть ему в надежной охране до самого конца плавания, чтоб кто лишний не увидел его да не донес потом на тезика.

– Ну, коли нельзя, то и ладно. Еще малость потерпим, к дому ведь идем, не от дома! – смирился Никита. – Благодарствую за еду, – и снова улегся на лавку. – Будем сил набираться для государевой ратной службы.

Снова громыхнул наружный запор, и снова крошечная тьма, хоть глаз сам себе коли, и то не увидишь!

«Сказывают, на кораблях крысы табунами водятся, – неожиданно вспомнил чьи-то рассказы о море. – Кинутся тучей и заживо слопают, а их и не различишь даже, какая где, чтоб сапогом трахнуть!»

– Идол полужелезный, беркут кривоносый, – проворчал, впрочем, без большой злости Никита, вспомнив меднолицего охранника. – Хотя бы свечу зажег... Ништо-о, тезик Али, мы не в обиде, вези да корми, а домой возвратимся и за добро добром же воздадим. Не велика наша стрелецкая казна, да ежели всей сотней, а то и двумя, скинемся, то и на добрый гостинец денег наберется, тебе и твоей полуневольнице, нашей родной кровинушке Луше... А покудова я здесь, то и доля у меня, как у той курочки: шаркать коготками да зернышки подбирать, какие кто подкинет. Вот уж как выберемся к родному берегу и обретем сызнова волю, тогда...

* * *

Берег Никита увидел среди такой же крошечной тьмы, как и там, в покинутом ими Реште. Вечером, поужинав и запив солонину полукислым вином, Никита лег спать вольным, как ему казалось, человеком, а проснулся от предчувствия беды... Он открыл глаза – в его каюте несколько человек, один с факелом, а другие грубо ухватили его за плечи и ноги.

– Что за чертовщина снится! – пробормотал Никита. Дернул руками и не сразу сообразил, отчего они сведены кистями так близко, да и ногами порознь не ворохнуть – железные кольца

больно резанули через тонкие шаровары. Его с сопением поволокли вверх по трапу, то и дело стукая головой о какие-то столбики.

«Боже мой! – С головы до пят Никиту пронзила жуткая мысль. – Неужто шахские люди все же дознались, что я у тезика Али, и теперь корабли шаха догнали нас?... Теперь поволокут меня на скорый суд за побитых сербазов на струге!»

Во тьме, когда его несли по палубе, он не видел ни тезика, ни охранника в колонтаре и в начищенной мисюрке. Кругом было пусто, и только эти четверо возле него – один со смоляным факелом, а трое волокут. Успел различить, что корабль стоит у какого-то города. Но это была не Астрахань с ее крепкими каменными стенами и боевыми башнями кремля. Здесь на сером фоне безлунного неба тут и там вздымались ввысь огромные и темные минареты.

«Куда же мы приплыли? – лихорадочно соображал Никита, как будто для него именно это было самым важным. – И на Решт не похоже, берег более пологий, хотя город лежит тако же на холмах».

Никита ойкнул – тащившие его кизылбашцы, сойдя с корабля по зыбкому трапу, бросили – словно бревно какое! – его на землю, и он больно стукнулся затылком о каменистую дорогу.

Где-то неподалеку зацокали копыта кованого коня, потом, по чьему-то покрику, вдаль, приближаясь, затарахтела телега. Кто-то подъезжал все ближе и ближе и вот остановился совсем рядом, так что Никита, покосив вбок глазами, увидел конские копыта возле своей головы. Кизылбашцы переговаривали между собой, причем Никита несколько раз различил знакомые слова «урус», «сербаз» – говорили о русском воине. Вот Никиту подняли и кинули в телегу, где даже и соломы никакой не подстелено. Всадник отсчитал монеты – Никита не только видел темную фигуру на коне, но и слышал звон серебра, – отдал их кизылбашцу с факелом, и те, кто его снес с корабля, повернулись к трапу, а телега, грохоча по камням, потащилась за всадником в город.

«Вона-а что! – похлеще кипятка ожгла Никиту страшная догадка. – Меня продали! Продали, как схваченного в бою полонника! И теперь подлый обманщик и клятвопреступник Али поплывет в Астрахань, а я здесь сгину, беззащитный перед врагами погибальщик! Луша, милая и святая душа! Неужто не чует твое вешнее сердце, что сотворил тезик с твоим названным братом? И чего стоит твой заговор перед дорогой, если меня так подло обманули и забили в железо?»

Телега недолго поплутала и остановилась перед каменной изгородью с закрытыми воротами. Всадник, не слезая с коня, громко распорядился, возница мигом соскочил с телеги, торкнулся в ворота, задергал ремень колотушки, подвешенной с той стороны. Ворота вскоре открыли, всадник и телега въехали на просторное подворье, с большим двухэтажным домом, с высокими стройными кипарисами по бокам дома, а еще выше кипарисов уходил к самому небесью – так казалось лежащему в телеге Никите – неохватный минарет с расширением на самом верху – оттуда муэдзин⁴¹ по самой рани, едва завидев первые лучи солнца над морской гладью, будет призывать мусульман к утреннему намазу⁴².

С крыльца белого дома, топоча грубыми малеками, сбежали несколько человек, Никиту подхватили под руки и за ноги, переговариваясь между собой, потащили в каменный сарай, что в левой стороне от хозяйского дома. Отворили скрипучую на железных петлях дверь, пронесли Никиту в угол и не совсем бережно кинули на ворох соломы. Когда кизылбашцы ушли, Никита, затаив дыхание, прислушался – рядом был кто-то еще, и не один. Вот стон неподалеку раздался, в другом углу кто-то завозился во сне, гроыхнув железной цепью...

«Чтоб тебя по живому разодрали раки, подлый клятвопреступник! – скрипнул от досады зубами Никита. – Кабы знать мне заранее, так не ушел бы ты, тезик, живым из своего же сарая!

⁴¹ Муэдзин – мусульманский дьячок, призывающий с минарета на молитву, обычно слепой.

⁴² Намаз – мусульманская урочная молитва.

Вот этими бы руками задавил, как гадкую змею! Надо же, вина дал с каким-то зельем, что уснул и не почувствовал, как на меня колодки железные надели! А это рядом, стало быть, такие же невольники, каким и я стал. Они спят, зная свою участь, а мне придется еще ее познать по первому же утру».

Никита покосил глазами влево – сквозь зарешеченное окно без стекла виднелись две близкие друг к другу небольшие звезды, проникал свежий воздух с моря, но шум прибоя здесь не слышен. Звезды скоро сдвинулись, продолжая свой бесконечный путь по небу, а Никита так и не смог сомкнуть глаз до предрассветного крика муэдзина, протяжного и тоскливого, будто и он там сидит, на цепь прикованный, и не смеет сойти на землю, к семье, к теплой постели.

«Заместо русского петуха людей будит», – криво усмехнулся Никита, приготовившись ждать, чем же одарит, после такой ночи, первый день неволи.

Утром, когда кизылбашские стражники увели из сарая всех невольников – Никита даже не успел рассмотреть их в темноте как следует, – пришел юркий толстенький перс, а с ним дюжий горбоносый кизылбашец с саблей и с плетью, в мисюрке с острым шишаком. Сходство внешнее было так велико, что Никита в первый миг подумал, что это и есть тот самый охранник в колонтаре с корабля тезика Али, но, присмотревшись, увидел, что обознался: у этого глаза не так глубоко посажены под лоб, да и волосы волнистее, и сам он гораздо моложе годами.

На толстеньком персе был надет теплый цветной в полоску халат, добротные мягкие сапоги и меховая шапка. Чисто выбритые щеки лоснились, словно наклеенные, вокруг рта черные усики свисали концами к черной бородке.

Владелец островерхой мисюрки легонько горкнул Никиту тупым носком сапога в ногу, рукой сделал знак подняться. Никита довольно легко поднялся с вонючей соломы, без страха глянул охраннику в темные глаза, но они глядели так равнодушно, что он понял: не первый да и не последний перед ним невольник, всего уже нагляделся. Толстенький обошел вокруг Никиты, крепкими пальцами ощупал руки, спину, тиснул тугую шею, цокнул языком, видимо, остался доволен покупкой. Усы шевельнулись в улыбке, обнажив светло-коричневые от постоянного курения кальяна зубы.

– Ко-орош урус! – тягуче выговорил перс и сказал что-то охраннику с саблей. Тот согласно мотнул головой, хлопнул ладонями. Тут же в сарай вбежал человек в просторном халате непонятного цвета от старости и многоразовой стирки, в истоптанных малеках, сутулый и с угодливой улыбкой на смуглом морщинистом лице, сложил руки у сердца и низко склонился перед хозяином, не смея поднять на него взора. Получив какое-то распоряжение, убежал. Вернулся в сарай с едой и кувшином: холодное мясо, пресные, как и везде в здешних краях, лепешки и большая очищенная луковица. Никита, с непривычки дергая закованными руками, торопливо поел, чувствуя на себе нетерпеливый взгляд горбоносого владельца мисюрки – хозяин ушел, слуга остался ждать, чтобы запереть сарай.

– Ну, я готов! Веди, куда тебе велено, сербаз, – сказал Никита и глянул в черные, настоженные глаза кизылбашца, хотя Никита был уверен, что родом этот человек не с берегов Хвалынского моря, таких в Астрахани он прежде не видел. – Что таким сычом зришь на меня? Аль страшишься, что задам стрекача? В железах далеко не убежишь, брат, – и добавил с нескрываемым сожалением: – Вот кабы скинуть эти железные кольца, тогда...

Охранник в островерхой мисюрке, изобразив на сухощавом лице кривую улыбку, буркнул что-то по-своему и плетью указал на дверь – иди, дескать, что толку в словах, когда есть повеление хозяина. И Никита пошел к выходу, под мелкий осенний дождь, из-за которого по каменной улице текли чистые говорливые ручейки. С моря напознала темная туча, в тесных улочках было сумрачно, пустынно, до невероятия дико, как в лесу. Город, прослушав одинокого муэдзина, словно не очнулся от сна. И еще Никите почудилось, что жители разбежались в окрестные горные ущелья в ожидании неприятельского нашествия и разорения.

Никита босиком шел мелкими шажками впереди кизылбашца, или кем он там еще родился, и в каких местах, гремела на ногах цепь, железные обручи больно врезались в кожу...

– Вай, астваз! – вдруг вскрикнул за спиной Никиты кизылбашец, тут же послышался шум, словно на землю кто-то свалился с каменной стены чужого подворья. Никита по давней воинской привычке проворно скакнул вбок, крутнулся и спиной прижался к мокрой стене. И от удивления вытаращил, изумленный, глаза, ничего не понимая. В узкой улочке неведь с чего началась нешуточная резня. Два перса, прыгнув на дорогу со стены, повалили «его» кизылбашца, пытались заломить ему руки, не дать возможности вскочить на ноги и выхватить саблю. Но вот один из них, получив удар ногой в живот, отлетел к стене и завалился в двух шагах от Никиты. Другой успел перехватить руку охранника в мисюрке и что-то крикнул упавшему сообщнику.

– Педер сухтэ! – выругался сосед Никиты и, лежа еще на спине, ловко выхватил из ножен кривую саблю...

Никита и сам потом не мог понять, что именно подтолкнуло его вмешаться в чужую свару? Дрались ведь не товарищи, дрались враги! И у них, стало быть, какие-то свои личные счеты. Но тут, должно, сработало чувство справедливого возмущения: нападали двое на одного, и не в открытую, а по-разбойному, из-за угла. Сделав резкий выпад вперед, Никита скованными руками охватил вставшего на колени разъяренного, что-то орущего мордастого перса и даванул ему горло со всей силы, какая оказалась в руках. Выпавшая из растопыренных пальцев сабля звякнула о камни, перс захрипел и тяжелым кулем обвис у пояса Никиты. В тот же миг его охранник сбил с себя второго нападавшего, который только на долю секунды оглянулся посмотреть, отчего захрипел напарник, вскочил на ноги и успел выхватить свою саблю. Брызнули искрами скрестившиеся сабли, оба противника изрыгали в лицо друг другу непонятные Никите ругательства, делали обманные прыжки, выпады, неистово наносили удары и столь же ловко отражали их.

«Славно рубятся, расшиби их гром на кусочки!» – невольно восхитился Никита, выпростав из скованных рук полузадушенного перса. Мелькнула было мысль схватить саблю у ног да и попытаться уйти оружным, но вспомнил о кандалах, оставил такую никчемную затею.

– Аллах акбар! – радостно выкрикнул владелец мисюрки, когда ловким ударом выбил у противника клинок, и тут же, не дав ему времени взмолиться о пощаде или изрыгнуть последнее ругательство, коротким взмахом снес голову. Дождевой ручеек окрасился в кроваво-розовый цвет и потек вниз, к морю.

Победитель подошел ко второму врагу, левой рукой ухватил за густые волосы, крикнул в бесчувственные глаза ругательство и саблей взмахнул... Потом, вытерев о халат врага оружие, бросил в ножны, забрал трофейные клинки, очистил от кожаных кошельков их карманы, остановился в явном раздумье перед Никитой.

– Теперь, разохотившись, и мне голову срубишь? – не без доли тревоги спросил Никита, не спуская строгого взора с кизылбашца, стараясь прочитать в его глазах свою участь. Но глаза эти, темные с коричневым оттенком, слегка выпуклые, озарились вдруг теплым светом. В них потух блеск ярости скоротечной рубки. Он сказал что-то трогательное, мягкое, а потом, зажав две с бою взятые сабли под мышкой, сложил руки к сердцу и поклонился.

– Хуб, хуб! – с улыбкой выговорил Никита одно из немногих кизылбашских слов, которые успел выучить, пока ласковая Лукерья ухаживала за ним.

Владелец мисюрки разулыбался, кивнул курчавой темноволосой головой и от себя добавил:

– Хуб урус! Бисйор хуб! Урус карош сербаз! Ибрагим – карош сербаз! – и он ткнул себя пальцем в грудь – под халатом Никита без труда угадал надетый колонтарь, – добавил еще раз, называя себя: – Ибрагим сербаз!

Никита понял, что так зовут кизылбашца, улыбнулся, поднес скованные руки к груди, постучал ими себя, назвался. Ибрагим дважды выговорил его имя, чтобы лучше запомнить:

– Никита. Никита! Карош урус Никита! – И еще что-то добавил, с сожалением развел руки, правой широко, левой же придерживая под мышкой добытые в бою сабли.

Никита понял: Ибрагим должен вести его дальше, и сам первым сделал шаг к морю, куда бежали розовые ручьи с места стычки давних, похоже, врагов.

– Ну что же, служба есть служба. Идем, Ибрагим, куда тебя хозяин послал со мною.

Минут через десять они добрались до пристани, где теснились более трех десятков, наверное, кораблей со спущенными парусами, чуть севернее приткнулись к берегу четыре галеры. К одной из них Ибрагим и привел Никиту.

– Вона-а что! В каторжные работы к веслу определил меня мой ласковый хозяин-колобок! Не зря общупывал, будто цыган жеребца на ярмарке!

На палубу поднялись по мокрым от все так же морозящего дождя сходням, у кормы их встретил старший надсмотрщик – это Никита понял по длинному кнуту, который был у него в правой руке, свернутый в несколько колец, словно аркан перед метким броском. На первый же взгляд что-то схожее подметил Никита в своем провожатом Ибрагиме с надсмотрщиком, в лице, в фигуре – оба высокие ростом, жилистые, горбоносые, только у надсмотрщика не такие длинные усы, да и глаза темно-зеленые, а не карие.

Кизылбашцы что-то переговаривали между собой, охлопывая друг друга по плечам, цокая языками, вскидывая лохматые черные брови. Причем, как понял Никита, речь шла и о нем, и о недавнем происшествии в тесной улочке, потому что одна из сабель тут же перешла к надсмотрщику. Он вынул ее из ножен, осмотрел, поскреб ногтем по острию клинка, сделал несколько пробных взмахов. И остался доволен подарком: сабля пришлась по руке – замашиста, удобна елмань – утолщение на конце сабли.

Ибрагим, прощаясь, подошел к Никите, хлопнул его по влажному из-за дождя плечу халата, некогда принесенного тезиком Али, сказал, показывая крепкие и крупные зубы в улыбке:

– Никита карош, Ибрагим карош, – и, должно, чтобы порадовать и подбодрить невольника уруса, добавил: – Давид карош, – и кивнул в сторону старшего надсмотрщика, который с такой же радушной улыбкой смотрел на них обоих.

«Как же! Хорош будет твой Давид, когда таким кнутом ожет по спине разок-другой, чтобы не ленился, веслом работая», – с грустью подумал Никита, посмотрев в сторону Ибрагима, который ловко сбежал по сходням на пристань. Давид, все так же улыбаясь Никите, крикнул кого-то. Из кормовой надстройки, где наверху, словно ветряная мельница на бугре, виден был огромный штурвал с большими ручками, прибежал худой и полусогнутый кизылбашец с ключами, ловко разомкнул ручные и ножные кандалы. Потом провел Никиту не в трюм, где на голых досках вповалку спали прикованные к брусьям гребцы, а в свою, должно быть, каюту, знаком дал понять, чтобы Никита снял насквозь промокший халат. Покопался в углу, вынул сухой, примерил со спины, цокнул – маловат! Накинул Никите на плечи другой, попросторнее, а сам все с улыбкой, словно скрывая какую-то добрую весть, поглядывал на уруса. Через несколько минут он же принес еду и – что удивило Никиту более всего! – кружку крепкого красного вина, которое после прогулки под дождем было вовсе не лишним.

Едва Никита кончил с едой, согнутый кизылбашец мимо все так же стоящего на палубе Давида в плотном, накинутом на плечи плаще провел Никиту в темную носовую каюту, где хранились запасные бухты канатов. Здесь кизылбашец, не разгибая спины – следствие удара или пули, а может, и копыя, – приготовил из старья что-то подобное постели, кинул сверху потертую циновку, потом застегнул на ногах Никиты кандалы и рукой указал – дескать, располагайся, а сам у двери на гвоздь повесил мокрый халат Никиты, чтоб просох.

Не заставляя себя просить дважды, Никита, не снимая с себя сухого халата, завалился спать, сожалея о пропавших на корабле тезика Али сапогах, – босые, скованные кандалами ноги зябли. Пришлось укутать их обрывками старого халата, вытащив его из-под циновки. Согревшись пищей и вином, не спавши всю прошедшую ночь, лежал с мыслями: что ждет его здесь, на галере? И не возымело ли воздействие на его судьбу вещее колдовство Луши и ее заговор? Может статься, что как-то и свяжется все это воедино, думал Никита, и с тем не приметил, как уснул крепким сном.

Сон оборвался тем, что нестерпимо захотелось почесать правую икру. Никита дернул было ногу к себе, звякнула цепь, резанула боль от острых краев железного кольца, которое скребануло по голени...

– Ах ты, дьявол! Чтоб вас гром расшиб! – ругнулся Никита, во тьме вскинувшись на циновке. Ругнул кандалы, а когда открыл глаза и обернулся на скрип двери, в проеме увидел согнутого кизылбашца – будто в раболепном поклоне замер перед невольником! В руках миска с едой и кувшин воды.

– Ишь, винца не поднесли нам ныне, – усмехнулся Никита, живо набивая рот теплой бараниной и пресной лепешкой. И к длиннлицему, с редкой рыжеватой бородкой кизылбашцу: – Садись, братец, что ты согнулся передо мной, словно я наибольший московский боярин альбо гилянский хан!

И вдруг кизылбашец ответил, дико перевирая слова, но Никита, к великой радости, все же смог уловить их смысл:

– Мой чуть понимать уруска говорить. Мой ходил Астрахан на этот галер, ходил Решт, попадал давно под казак-разбойник Ывашка Кондыр. Ывашка нападал, наш галер брал в Кюльзум-море⁴³. Мой спина стрелял, на себя брал, потом таскал Дербень, – и он рукой указал через дверной проем на берег, где сквозь пелену утреннего тумана – стало быть, Никита проспал целые сутки! – поднимались ввысь, под стать корабельным мачтам, ровные круглые минареты, с которых даже до пристани неслись призывные крики:

– Нэ депр молла азанвахти! – это муэдзин звал правоверных мусульман к утреннему намазу.

В Дербене, как понял Никита из рассказа кизылбашца Сайда, его, покалеченного казацкой пулей, обменяли вместе с другими пленными на русских невольников, и вот теперь он у Давида, который доводится ему дальним родственником по жене.

– А кем Ибрагим твоему Давиду доводится? – любопытствовал Никита, напившись досыта из кувшина.

– Родной брата они, – ответил Сайд и, сцепив пальцы крепко, потряс ими перед Никитой, показывая, как крепко их родство. Никита даже присвистнул: теперь понятно, почему он спал здесь, на ветоши, а не на голых досках в трюме около весла!

С трудом подбирая слова, помогая себе жестами рук, Сайд по большому секрету сообщил урусу, что Ибрагим просил брата Давида кормить его, Никиту, класть спать здесь и не бить плетью, когда тот будет сидеть за веслом, как обычно поступают с невольниками, если надсмотрщику кажется, что те гребут недостаточно сильно и дружно.

«И на том спаси его аллах мусульманский», – порадовался Никита, потер ладони, а вслух подумал, что Ибрагим за дарованную ему возможность спасти свою жизнь мог бы и на волю отпустить его как-нибудь.

– Нет-нет, урус! – и Сайд замахал испуганно руками. – Нельзя тебя пускать! Хозяин давал за тебя много аббаси, вот столько! – и он раз пять хлопнул ладонями с растопыренными пальцами – пять десятков персидских монет. – Ибрагим тебя пускал, хозяин его сюда пихал, – и он указал пальцем в утробу галеры.

⁴³ Кюльзум-море – Каспийское море.

– Спаси тебя Бог, Сайд, а вернее, твой аллах за эти вести. Теперь мне многое прояснилось. Коль случай доведется, и я тебе добром отплачу, – пообещал Никита, сам не ведая, где и когда в их жизни может выпасть такой случай, хотя тяжкие испытания, которые ожидали все побережье Кюльзум-моря, были не за горами. Но о них в Дербене еще ничего не знали...

Через несколько дней галера вышла в море, направляясь в Баку, и Никита сидел уже вместе с двумя десятками таких же невольников, налегая на весла, когда ветер становился противным и не давал возможности идти под развернутым парусом. Давид не скупился на плети, но по спине Никиты она не прошла ни разу. Да, к слову сказать, Никита и не давал такого повода: силы к нему вернулись, и он греб старательно. По возвращении с грузом из Баку в Дербень галера недели две стояла в порту. Всех колодников загнали в каменный сарай, а Никита под присмотром Давида и Сайда остался на галере, в сухой кладовой. Кормили здесь гораздо лучше.

Несколько раз галеру посещал Ибрагим, звал к себе «гяура уруса», как он шутливо говорил без посторонних глаз, и через Сайда выпрашивал: кто он, откуда, велика ли семья? Узнав, что тяжкая беда занесла его в персидские земли и что дома на недостроенном подворье остались трое детишек, Ибрагим сожалеючи поцокал языком, покрутил усы, вздохнул и покосился на старшего брата. Но Давид хмурил густые брови, у рта залегла угрюмая складка. Сайд потом по секрету пересказал Никите разговор, который произошел между братьями.

– Надо бы отпустить нам уруса Никиту, – говорил Ибрагим. – Ведь если бы он не удушил собаку Муслима, наши кровники, которых, похоже, сам шайтан принес в Дербень из-за Кавказского хребта, убили бы меня. А потом и тебя подстерегли бы. А теперь бродячие псы не наши, а их трупы жрут на свалке!

– Ты прав, брат, так бы и было, – соглашался Давид. – Кто бы мог подумать, что собака Муслим унюхает, где мы нашли себе кров и службу?... Но как спустить уруса? Жадный Махмуд либо нас обоих прикует к веслам, либо через судью сдерет такие деньги, что нам вовек не расплатиться. Вот кабы случай какой верный подвернулся...

Зная о таких разговорах, Никита не терял надежды, что случай рано или поздно повстречается. Каждый раз выходя в море, он по солнцу или по звездам старался угадать, куда идет галера? В Баку, в Решт, в Фарабат или в Астрахань? Но тезик Махмуд всякий раз давал команду править галеру на юг, а не на север, словно бы и пути туда никогда не было. Да и откуда было знать Никите, что после столь дерзкого прохода Степана Разина по Волге на Хвалынское море, а потом и на Яик, напуганные тезики опасаются плыть с товарами в Астрахань, чтобы не попасть в руки бесстрашных донских казаков, – не только товары, а и себя можно потерять безвозвратно!

Осень, зима и весна 1668 года прошли в томительном для Никиты ожидании. И случай пришел: отголоски событий на северном берегу Хвалынского моря погнали к югу тревожный слух, как ветер гонит перед собой над морем волну – вестник надвигающегося урагана...

3

Рыбаки, которые накануне вышли в море, первыми принесли в Дербень весть о выходе казаков атамана Разина на просторы Кюльзум-моря, а вслед за перепуганными рыбаками и весь город уже мог пересчитать длинную цепочку белых парусов, и паруса эти, такие мирные и безмятежные на вид, шли к охваченному паникой городу. Начальство, разослав гонцов во все близлежащие селения с призывом поспешить на помощь, погнав срочного гонца в Исфагань, в столицу могущественного шаха Сулеймана, стянули воинские силы в каменную крепость, быть может, за многие десятки лет с немалым сожалением заглянули в дула давно умерших железных пушек... По берегу туда и сюда скакали конные разъезды, муэдзины возносили аллаху молитвы, умоляя его защитить город от страшной беды: кизылбашцы отлично знали, каковы в ратном деле донские казаки!

К вечеру, на виду города, флотилия казацких стругов числом не менее сорока прошла мимо Дербеня, устрашилась, должно быть, грозных с виду стен крепости и пушек на ее стенах, отвернула и, держась курса на юг, пропала из виду.

– Все, раскололся кувшин моих надежд! – Никита, стиснув пальцы до боли в суставах, смотрел с палубы галеры в потемневший окоем моря – мелькают над волнами неугомонные и безучастные к людским страданиям чайки, а белокрылых казацких стругов и не видно уже...

На ночь хозяин повелел свести с галеры колодников всех до единого, заковать в ручные и ножные кандалы и запереть в сарае. У двери два наемных стражника в карауле, безмолвные, под стать лесным придорожным пням. Ибрагим, копошась с замками на кандалах Никиты, заговорщически подмигнул урусу темным глазом и пальцем ткнул в «браслеты», показывая, что оставил их незапертыми. Потом сделал предостерегающий знак, тихо шепнул, мешая русские и кизылбашские слова:

– Будет казак – бегай свой дом. Не будет казак – спи тихо. Иншала, и ты спасен.

– Аллаху акбар, – по-кизылбашски ответил Никита, во тьме пожал руку Ибрагиму с такой горячностью, по которой Ибрагиму нетрудно было догадаться, с каким нетерпением ждет урус избавления от неволи и каторжных работ.

И тут Никита почувствовал, что Ибрагим вложил ему в ладонь рукоять кинжала, а сам сдвинул к орлиному носу лохматые брови. Никита торопливо сунул кинжал за пазуху и повалился на свое скудное соломенное ложе, а Ибрагим для виду еще раз окинул взглядом сарай и невольников в кандалах, неспешно пошел к двери. Стражники молча выпустили его, громко двинули в скобах наружный засов.

Вся округа погрузилась в темноту и тишину, и только в недалеком проулке, не поделив объедки, грызлись между собой бродячие собаки. Ни торопливых шагов случайного прохожего, ни цокота копыт, ни тоскливого рева извечного навьюченного упряма здешних мест: небезопасно с наступлением ночи в переулках от жестоких грабителей, да и от ханских и шахских стражников защиты не больше! Среди бела дня иной раз грабят без зазрения совести, а тут тьма такая...

Никита лежал у стены, затаившись. Слушал тихий говор прочих невольников – какая жалость, ни одного россиянина среди них! Душу разговором отвести и то не с кем. Вдвоем или втроем куда как сподручнее было бы!

«А может, рискнуть, не ждать казаков? – лихорадочно билась в голове Никиты отчаянная мысль. – Может, выйти на подворье как ни то среди ночи? Да стражей прибить, коня добыть и пошел на север! – И тут же отвергал столь безрассудный план. – Далеко ли уйдешь? Кругом кизылбашские городки, а на тебе такой наряд, что любая бродячая собака колодника учует, затавкает... И как знать, удастся ли отыскать потом нового Ибрагима?»

Проснулся Никита от недалекого пушечного гула – а снилось только что, будто он в лесу со Степанкой, грибы собирают да угодили под грозу... Вскинулся на ноги вместе с прочими колодниками и возликовал, едва не заорав на весь сарай: грянул-таки Степан Разин на невольничий город Дербень! Это его пушки со стругов ударили по крепости! А спустя малое время пищали на берегу захлопали, на улочках сполошные крики, сквозь пустой проем окошка под потолком сарая доносились цоканье копыт, начальственные покрики, и Никита опытным ухом уловил, что по всему берегу и к каменной крепости перекинулась неистовая ночная драка.

Он, потихоньку стряхнув с себя незапертые кандалы, вынул кинжал, подошел к двери – на подворье недолго слышны были крики, хлопанье дверей, бестолковая, казалось, беготня, а потом грохот колес отъезжающих телег – и все стихло. Никита осторожно – а вдруг стража все еще стоит? – просунул лезвие кинжала в просвет между дверью и косяком, нащупал задвижку из крепкого дерева и понемножку принялся отодвигать ее влево, пока она не вышла из скобы на косяке и не повисла в воздухе, задравшись коротким концом вверх. Никита торкнул освободившуюся дверь, осторожно выглянул – подворье было пустым: хозяин бежал вместе со своими стражниками... Выше в гору и у крепости слышались отчаянные крики, хлопанье пищалей и пистолей, стоял такой треск, словно на тысячеструнной арфе кто-то рьяно рвал тугие струны.

Босиком, в старом персидском халате и простоволосый, Никита через раскрытую калитку метнулся с подворья на улочку, а за ним с гомоном вывалили и остальные колодники, заматались на подворье, не зная, что же им теперь делать, без стражи и в железных кандалах. Никита устремил свой бег к морю. Там должны быть теперь казацкие струги, там, среди своих людей, и искать ему избавления от горькой чужбины. «Скорее, скорее! – торопил себя Никита, не обращая внимания на боль в подошвах – камешки, кусочки битых черепков делали едва ли не каждый шаг настоящим мучением. – Не приведи, Господь, теперь еще и ткнуться в конный дозор альбо в пешую заставу сербазов! Не успеешь крикнуть „Ратуйте, братцы!“ – как голову снимут шахские сербазы!»

И ткнулся-таки Никита, только не в заставу, а в большую толпу вооруженных кизылбашцев, и было это уже в каких-то ста саженях от моря. Впереди толпы шел высокий абдалла⁴⁴ с посохом, только посох этот не гремел как обычно бубенцами, а до неприличия сану хозяина безмолвствовал. Безмолвствовала и толпа кизылбашцев в несколько сот человек, не выкрикивала воинственных кличей, не бряцала оружием, не проклинала гяуров-урусов и не звала себе в помощь своего всеильного аллаха.

Сеча шла там, на холме, среди вспыхнувших уже в нескольких местах пожаров, а эти, напротив, уходили от сечи.

«Неужто в бег ударились, себя спасая? – подивился Никита, а сам вжался в неровность каменной изгороди возле какого-то подворья, стараясь остаться незамеченным. – Тогда почему не бегут через базар и на северную окраину, а крадутся к морю? – И тут его словно осенила страшная догадка: – Метят на казацкие струги! Внезапно грянуть хотят да и порушить суда! Ах вы пэдэр сэги, чтоб вас черт сглотнул! – выругался мысленно Никита, поняв хитроумный замысел абдаллы. – Увидят казаки свалку возле стругов, не до шахских крепостей им будет, самим бы как спастись потом пешими!»

Никита под ногами нащупал несколько камней поувесистей, сунул в просторные карманы халата да в руки по одному и бережно покрался вдоль темной изгороди, пообок с толпой кизылбашцев, молчаливых, с обнаженными саблями, копьями, которые зловеще поблескивали при скупом свете луны. Когда до окраины города осталось с полсотни саженей, а далее уже была прибрежная полоса, Никита перемахнул стену, потом через подворье еще одну стену и выскочил на простор – перед ним, носами к городу, то и дело стреляя из пушек в сторону крепости, стояли большие казацкие струги.

⁴⁴ Абдалла – так русские в XVII веке называли мусульманских бродячих дервишей, схожих с нашими монахами.

Уловив миг между залпами, когда пушки молчали, но воздух еще, казалось, звенел вослед улетевшим ядрам, Никита во всю мочь груди закричал, бросив камни и сложив ладони у рта:

– Братцы-ы! Персы к стругам крадутся-я! Изготовьтесь к сече-е! Здесь, совсем близко! Сот до пяти иду-ут на вас боем!

На ближнем струге, на кичке у пушки несколько казаков засуетились. Послышались резкие команды. Возбужденные крепкой бранью, на палубу высыпали вооруженные казаки, кто-то из старших окликнул Никиту, пытаясь разглядеть его, в сером халате на фоне серых жилых строений города.

– Ты где, человеке? Беги к нам!

Никита успел пробежать от стены к стругам не более тридцати шагов, как из улочки, словно горный Терек из тесного ущелья, с ревом вырвалась толпа кизылбашцев и кинулась к берегу. Но тут с ближних стругов, в упор, ударили фальконеты⁴⁵, пищали. Никита, предвидя, что во тьме вряд ли кто из казаков будет остерегаться, чтобы не попасть и в него ненароком, успел упасть на землю, благо неподалеку лежало старое поваленное дерево, на котором после купания любили греться здешние ребяташки.

Подкатившись к дереву, Никита с кинжалом в руке затаился – толпа кизылбашцев, теряя первых побитых и раненых, пробежала мимо него в каких-то десяти шагах и была уже на полпути к стругам. Казаки, успев стрелкнуть по набегавшим из пистолей, ухватились за копыя и сабли, а некоторые из бывших стрельцов изготовили к драке длинные и тяжелые бердыши, встретили врагов у сходней... Дальние струги незамедлительно прислали подмогу, и привел ее не кто иной, а, как потом узнал Никита, ближний атаманов сподвижник Серега Кривой.

Казаки сбоку навалились на кизылбашцев, осадивших с десяток стругов, взяли их в сабли и начали отжимать от пристани, так, чтобы, отступая, враги не навалились на тех, кто со Степаном Разиным штурмовал город и каменную крепость. Никита, едва казаки приблизились к месту, где он укрывался, скинул прочь постылый кизылбашский халат и в рубахе, подхватив чужую адамашку⁴⁶, с криком:

– Круши нехристей, братцы! – кинулся среди передовых казаков в тесную, грудь в грудь, рубку, вымещая в яростных ударах всю злость за каторжную работу на чужой постылой земле.

За плечо его неожиданно дернул здоровенный казак в богатом атласном кафтане синего цвета с перехватом. За алым кушаком дорогие ножны и два пистоля сунуты рядом.

– Стой, мужик! Ты кто таков? – А у самого усищи, будто у матерого кота, вразлет.

– Кой черт я тебе за мужика! – с отчаянной лихостью ответил Никита, которого начал пьянить угар сабельной сечи. – Нешто мужик так адамашкой владеет?

– Ну, тогда держись меня пообок, казак! – хохотнул детина и врезался в гущу кизылбашцев, которые, ведомые абдаллой, пытались перестроиться для нового нападения на струги.

– Алла, ашрефи Иран!⁴⁷ – на диво могуче гремел голос неустрашимого абдаллы.

Вокруг него десятки глоток кричали всяк свое:

– Иа, алла!

– Хабардар! – предупреждал кто-то своих о близкой опасности.

Какой-то военный предводитель, в колонтаре и в мисюрке, размахивал пистолем и визжал, словно босой ногой наступил на красные угли:

– Азер! Азер, сербаз шахсевен!⁴⁸

⁴⁵ Фальконета – род малой пушки, которая ставилась на железную подпорку-развилку.

⁴⁶ Адамашка – сабля дамаской выделки.

⁴⁷ За аллаха, благородная Персия!

⁴⁸ Огонь, солдаты, любящие шаха!

Казаки схватились с кизылбашами стенка на стенку! В ход сызнава пошли сабли, кистени, топоры и стрелецкие бердыши, а иной раз и испачканные кровью безжалостные кулаки, сокрушающие челюсти и зубы. Никита пробился до абдаллы, по пути к нему свалив нескольких замешкавшихся кизылбашцев. Абдалла, поздно почуяв неминуемую гибель, с истощенным от постнической жизни лицом, а теперь перекошенным еще и яростью драки, пытался было спастись, спиной вжаться в плотную стену из человеческих тел.

– Хабардар!

– Врешь, змей сушеный, не улизнешь! – выкрикнул Никита и махнул адамашкой. – Бисйор хуб! Добро сделано! – зло и в то же время с радостью выкрикнул Никита, видя, что вожак кизылбашцев с запрокинутой, наполовину срезанной головой посунулся вдоль чужого бока к ногам толпы, под лязг стальных клинков вокруг и полуотчаянные и воинственные крики сотен глоток.

– Вай, аствауз! – с ужасом завопил кизылбашец, около которого повалился зарезанный «бессмертный» абдалла, сам бросил саблю и рухнул на землю, накрыв голову беспомощными ладонями.

– Берегись, шехсевен! – выкрикнул Никита, отбил свистнувшую над головой саблю соседнего кизылбашца, резко шагнув к нему, ударом кулака со всей силы в челюсть сбил с ног. Бородатый перс запрокинулся, выронил саблю и, полуголушенный, рухнул на колени, вскрикивая, словно пьяный:

– Иа, алла, иа!

Окруженные со всех сторон, лишившись духовного предводителя, кизылбашцы, числом уменьшившись едва ли не наполовину, побросали оружие и взмолили о пощаде. Разобрав пленных по рукам, кому кто с бою достался, казаки стали приводить себя в порядок, собираясь на берегу: а ну как еще какой тюфянчей или абдалла соберет отряд кизылбашцев да вновь попытает счастье пожечь казацкие струги? Тут же, у разведенных костров, бережно укладывали побитых до смерти в этой сече казаков, пораненных относили или провожали на струги.

– Эко, брат, и тебя задело? – вырвалось невольно у Никиты, когда заметил, что усатый детина в голубом кафтане сидит у костра полураздетый, а товарищ бережно перевязывает ему левую руку у самого плеча. Обнаженная сабля лежала у казака на коленях, словно бой с кизылбашцами не окончен. Хотя так оно и было – у крепости все еще гремели пищали и густо вихрились, сливаясь воедино, крики отчаяния и торжества близкой победы...

– Треклятый тюфянчей малость промахнулся, стрельнув из пистоля, – с кривой усмешкой от боли ответил усатый казак. – Метил прямо в лоб, да мне своего лба жаль стало, плечо пришлось подставить, – и назвал: – Меня нарекли Ромашкой Тимофеевым, у атамана Степана Тимофеевича в есаулах. А ты кто и откель здесь объявился? Видел я, как ты встречь нам из-под дерева скакнул, скинув кизылбашский халат. Аль в плену был?

– Я самарский стрелец сотни Михаила Хомутова, – назвал Никита и коротко поведал о своих злоключениях в землях персидского шаха вплоть до этой вот последней ночи и своего освобождения...

– Ромашка-а! Еса-у-ул! Тебя к атаману кличу-ут! – раздалось с одного из стругов, севернее того места, где Никита устроился у жаркого костра.

– Идуу-у! – с поспешностью прогудел детина во всю ширь груди, накинул, не вдевая в рукава, переливчатый кафтан, отыскал взглядом отошедшего в сторону Никиту и упредил нового товарища: – Сиди здесь, должно, скоро и тебя к атаману поκληчут по моему сказу. – И ушел, широко шагая по крупной шуршащей под ногами гальке.

И только теперь уставший от бессонной ночи Никита заметил, что малиновое солнце, как-то разом выскочив из-за восточного морского окоема, довольно высоко уже приподнялось над Хвалынском морем и высветило горящий черным дымом в нескольких местах город, его

высокие узорчатые минареты, и здешние перепуганные муллы и абдаллы сидят по домам, и муэдзины не созывают мусульман к утреннему намазу.

По наклонным улицам, кто со скарбом, а кто и с полоном в придачу, возвращались к стругам казаки, штурмовавшие город, разноликие, разноодетые – и в казацких кафтанах, и в стрелецком одеянии, и в мужицких сермяжных однорядках... А один с двумя тяжелыми узлами за спиной, тот и вовсе в нагольном тулупчике нараспашку, под которым видна домо-тканая грязно-серая рубаха с веревочной опояской. Рядом с ним безусый казачок тянет за собой повязанного перса в желтых просторных шароварах и в нательной рубахе, а малиновый, с зелеными цветами бархатный халат с перса уже снят и перекинут через плечо удачливого казачка. Казачок тащит перса, а тот, в белой витой чалме и в зеленых чедыгах, тащит на себе за спиной увесистый узел со скарбом.

«Должно, укрыться мнил где-то сей перс да пересидеть лихой час, а тут глазастый куркуль⁴⁹ и схитил его! – усмехнулся Никита, видя, как охрипший от воплей богатый перс трясет черной бородой и хамкает воздух широко раскрытым ртом. – Ништо-о, клятые кизылбашцы! Любите урусов в полон хватать и к каторжным работам под плети сажать! Теперь сам такого же лиха отведаешь, чтоб впредь сердобольнее были сами и ваши детишки!»

– Эге-гей! Самаренин Никита-а! – прокричали с ближнего струга, а крик, слышно было, передали издали. – Атаман тебя кличе-ет! Поспешай жива-а!

Екнуло у Никиты сердце, непонятное беспокойство запало в душу: умом сознавал, что он вольный, атаману неподвластный человек, и в то же время отлично понимал свою полную зависимость от незнакомого пока человека. Он проворно подхватился на ноги, оставил своего пленника у костра на попечение казаков и по влажным от ночной росы мелким камням побежал к стругу, на который поднялся незадолго до этого новый знакомец Ромашка.

Ромашка и встретил его у широкой сходни. Рядом с ним стоял широкоплечий, крепкий, словно каменная серая глыба, казак в желто-красном персидском халате поверх белой рубахи. На одном глазу у него бельмо, зато вторым смотрит так, что не отвертеться, ежели какое зло умыслил супротив атамана.

– Тот самый? – коротко спросил Серега Кривой.

– Этот, Серега, – подтвердил Ромашка и к Никите с приветливой улыбкой: – Ну, стрелец, идем к атаману, ему о себе сам скажешь.

Степан Тимофеевич Разин сидел на персидском ковре с причудливым орнаментом. Одет в белый атласный кафтан, туго стянутый на поясе голубым кушаком. На голове лихо заломлена к правому уху красная шапка с оторочкой из белого меха, на ногах мягкие зеленые сапоги. Когда к нему подошли, он перестал трапезничать и отставил миску с холодным мясом, сделал большой глоток из кубка, утер губы и усы белоснежным рушником. Никита хорошо разглядел смугловатое от степного загара лицо атамана, слегка вытянутое, обветренное на скулах. Черные кудри выбивались из-под шапки, ниспадали на высокий лоб. Чуть приподняв широкие брови, атаман устремил на стрельца взгляд быстрых темно-карих глаз. Степан Тимофеевич сунул в короткую волнистую бороду пятерню, как бы в раздумии поскреб подбородок, легкая улыбка тронула жесткие губы сомкнутого рта. Потом с усмешкой перевел взгляд с Никиты на Ромашку, словно бы не веря тому, что ему говорили недавно о стрельце.

– Этот, што ли, прибег к нам? – спросил Степан Тимофеевич, а в голосе Никита уловил все то же недоверие: стоит перед ним, атаманом, ободранный мужик, в лохмотьях каких-то, только и доблести, что чужая, видно, сабля в ножнах у веревочной опояски.

– О нем я тебе говорил, Степан Тимофеевич, – подтвердил Ромашка, двинул пальцами по жестким усищам и со смехом подтолкнул оробевшего от атаманового неверия Никиту поближе к Разину. – Будто нечистый в ночи перекинулся через стену и завопил недуром, чтоб береглись

⁴⁹ Куркуль (донск.) – степной хищник, орел.

мы, дескать, кизылбашцы сторожко к стругам подбираются! Ну, славно и то, что на нашем языке завопил, разом подхватились казаки, успели фальконеты повернуть да пищали изготовить. И гребцы, которые в трюмах повалились после ночной гребли замертво, за оружие вовремя ухватились. А то б, Степан Тимофеевич, быть беде, ей-бог же! Ежели и отбились бы от кизылбашцев, то большой кровью...

Атаман внимательно и, как увидел Никита, теперь с интересом оглядел его с ног до головы, ласковая улыбка тронула не только его жесткие под усами губы, но и строгие глаза.

– Да-а, видок у тебя, самаренин... Оно и понятно, не из московских палат с боярскими дарами вылез, а из неволи... Стрельцу поклон от всего казацкого войска, а вам, есаулы, впредь наука – всякий раз заботиться о дальних дозорах! Негоже о супротивнике думать, будто у того заместо головы приделана пареная репа! – сурово выговорил атаман. Сказал тихо, но Никита видел, что соратники Разина крепко мотают на ус ратную науку. – Чикмаз! – громко позвал кого-то атаман. – Налей стрельцу кубок! Да ты, самаренин, присядь! В ногах не много правды, о том еще наши деды не раз говаривали. Покудова робята мои полон да добычу в общий котел снесут да раздувают, пообскажи о себе. Чикмаз, аль уснул за кувшином?!

Зыркнув на Никиту злым и недоверчивым – волчьим взором исподлобья, один из ближних атамана Ивашка Чикмаз, человек, как потом узнал Никита, с дико-кровавым недалеким прошлым, налил Никите вино в легкий серебряный кубок, подал с непонятными пока словами, адресуясь к стрельцу:

– Пей атаманово угощение! Не дрожи рукой! Аль наслышался в Астрахани про Ивашку Чикмаза? Так знай наперед и другим стрельцам передай по случаю: по-разному потчует мы вашего брата – кому топором по шее, а тебя атамановой чаркой.

Никита принял кубок, а что рука дрогнула, так от волнения и от радости, что после стольких мытарств он снова среди своих. Встал и поклонился Степану Тимофеевичу до палубных досок, Чикмазу не ответил, потому как о его кровавой работе доброхотным палачом в Яицком городке он еще не знал.

– Благодарствую, атаман Степан Тимофеевич, за избавление от кизылбашской неволи, а то бы вовек мне отсель ни живым ни мертвым не выскочить! – Выпил, опустил на край ковра. – Сам я из самарских стрельцов. Прошлым летом, как сошел ты со своей ватагой на Волгу, были мы посланы на стругах в Астрахань, чтоб тебя, атаман, с твоими казаками ловить...

– Ан ловцы-то криворукие оказались... – весело хохотнул Степан Тимофеевич, обнажив в усмешке крепкие, малость кривые спереди зубы. – Умыслила курица лису в курятник заманить, чтоб исклевать до смерти, да и по сей день никак ту курицу не сыщут!

– Не сыскали и мы тебя, атаман, – согласился Никита, чувствуя на себе все тот же недоверчивый взгляд Чикмаза. – К нашему приходу ты с казаками уже покинул Волгу и ушел на Яик, – Никита рассказывал под пристальным взглядом не только атаманова палача, но и Сережки Кривого, словно и тот пытался уличить Никиту в чем-то дурном. «Оно и понятно, опасение у них есть – не подослан ли я от московских бояр извести как ни то атамана», – подумал Никита без обиды. Он рассказал о буре на Хвалынском море, о Реште и о тезике Али, о Дербене, о том, как, выпущенный добрым приятелем из сарая, пробрался к берегу, ткнулся ненароком в кизылбашский отряд во главе с абдаллой, а потом, во время боя, и срубил того абдаллу саблей.

– Околь того абдаллы ихний тюфянчей всегда шел... Тот тюфянчей и стрелил меня, Степан Тимофеевич, из пистоля, плечо пробил насквозь, – добавил Ромашка таким голосом, будто ребенок винился перед родителем за промашку в уличной драке, придя к дому без переднего зуба... – Никита себя молодцом в сече выказал.

Степан Тимофеевич молча улыбнулся, поочередно глянул на хмурого Чикмаза, на Сережку Кривого, которому в каждом новопришлом человеке чудится боярский подлазчик с целью извести казацкого атамана, согнал с лица улыбку. Знал Степан Тимофеевич, что смелый

в бою Чикмаз, сам из бывших стрельцов, теперь вздрагивает по ночам от кошмарных видений, причиной которых послужила кровавая плаха в Яицком городке. Вздохнул, сожалея о содеянном, – выигралось лютой яростью сердце на жестокий отпор, учиненный стрельцами из каменной башни, многих добрых казаков побили, хотя знали, что и самим в таком разе живыми не быть вовсе... «Кабы сложили оружие, то отпустил бы с миром, – вздохнул еще раз атаман. – А так я лишь укрепил своим действием их собственный себе приговор... А Ивашка теперь от каждого стрельца ждет справедливого удара ножом в спину... И, похоже, тако же смирился с собственным приговором», – Степан Тимофеевич отогнал тревожные думы, снова посмотрел на притихших есаула и стрельца, даже шепотком между собой не переговариваются, ждут атамана решения.

– Отдай его мне, Степан, – вдруг выговорил стиснутым от волнения горлом Ивашка Чикмаз. – Пущай при мне покудова походит, себя покажет...

У Никиты сердце едва не оборвалось – недоброе почувствовало, глаза Ивашки напомнили глаза голодного волка, который затаился под кустом, видя перед собой желанную добычу. Но сказать что-то поперек не осмелился.

Словно почувствовав состояние стрельца, вперед выступил Ромашка Тимофеев, с поклоном попросил:

– Отпусти, Стяпан Тимофеевич, стрельца Никиту в мой курень. Лег он мне на сердце, возьму под свою руку и под присмотр, ежели у кого какое сомнение в нем есть.

Степан Тимофеевич, опустив глаза на ковер, помолчал с минуту, видно, и сам не совсем еще избавившись от внутренних колебаний, потом поднял лицо, глянул Никите в самое нутро.

– Казацкое войско не без добрых молодцев, но каждая сабля никогда и нигде не была в помешку. Так что, ребята, коль есаул Ромашка хвалит нам стрельца Никиту, знать, он и в самом деле кругом удал, добрый казак будет! – проговорил атаман с теплой улыбкой. Сверкнув перстнями, погладил короткую, с ранней сединой черную бородку. – Что в награду за услугу войску себе просишь из дуванной доли? Часть дувана? Велю и тебя наравне с иными в число дуванщиков поставить. – И озорно подмигнул своим есаулам: – На Москве, ведают о том мои казаки, знамо, как добычу делят: попу – куницу, дьякону – лисицу, пономарю-горюну – серого зайку, а просвиrne-хлопуше⁵⁰ – заячьи уши! Да у нас не так, а по чести!

Никита вскинул брови, выказав крайнее удивление словам атамана, руками отмахнулся. Неужто он о дуване думал, когда полошил казаков отчаянным криком?

– Помилуй Бог, атаман Степан Тимофеевич! О какой награде речешь? Это я в долгу перед казаками до скончания века, а не ты передо мной! Коль доведется случаю быть, и жизнь отдам за тебя!

Сережка Кривой крякнул в кулак. Другой есаул, тако же один из давних атамановых дружков Лазарка Тимофеев, лет сорока, кривоплечий – левое плечо вздернуто, и есаул – Никита успел это уже приметить – всегда шел левым боком вперед, словно задиристый кочет, – зыркнул на стрельца небольшими круглыми глазами, поджал губы: не возгордился бы новичок пред атаманом сверх всякой меры! Смел больно в речах, не знает, что атаман, коль учует какую лжу в словах, враз может окоротить так, что и света божьего больше не увидишь, и щи хлебать разучишься!

Но Степан Тимофеевич улыбнулся, сердцем чувствуя, должно быть, правду, что стрелец не кривит душой.

– Ну тогда, Никита, служи казацкому войску и впредь тако же верно, и я тебя своей милостью не оставлю. А в число дуванщиков, Серега, все же поставь стрельца. Сами же сказывали, коль не его сполох, то многим бы дувана вообще не видать... Ромашка, бери его к себе в курень, коль судьба свела вас в одном сражении. Лазарка, возьми с собой Мишку Ярославца

⁵⁰ Просвирик – служитель монастыря, пекущий просвиры.

да проследите, чтоб запастись на стругах харчами и водой. Не лето же нам под Дербенем стоять! Мыслью теперь, что шах персидский заждался нас, изрядную куржумную⁵¹ деньгу за своих единоверцев нам приготовил!

Есаулы посмеялись – рады, что погромили невольничий город, где набеглые кизылбашцы сбывали взятых в полон русских людей для каторжных и галерных работ. Рады, что, кроме стрельца Никиты, высвободили из неволи еще около двухсот своих единоверцев и захваченных приволжских ногойцев, которые тут же влились в войско атамана. Рады, что в отместку персам побрали немалое число пленных, в основном тезиков да шахских сербазов, за которых можно будет выменять русских невольников и в других приморских городах Ирана.

– Идем, Никита, – Ромашка Тимофеев тронул нового сотоварища за плечо. – Мой струг вона там, почти крайний к северу.

– Я только своего полонянника заберу, – попросил Никита, поклоном простился со Степаном Тимофеевичем, который подозвал уже к себе Сережку Кривого и что-то негромко им начал обсуждать. – Сказывали мне казаки, да я и сам то же самое слыхивал в Астрахани, что за полоненного с бою от кизылбашских тезиков можно взять выкуп.

– Да и мы обычно продаем свой полон ихним тезикам, – пояснил Ромашка, проворно сбегая по сходням с атаманского струга на береговую гальку. – А те купчишки, воротясь к себе домой, сами уже, и не без выгоды, конечно, возвращают выкупленных ихним родичам. Тако же и наши купцы иной раз поступают, ежели случай представится быть с торгом в здешних городах. Потому у казаков полон с бою считается делом святым.

– А мне и подавно! – живо подхватил Никита. – Перед самым походом подворье в прах погорело, только скотину кое-какую спасли... Так что лишняя деньга не в помеху будет.

– Бери, я подожду, – сказал Ромашка, остановившись у сходни. – Глядишь, и по дувану что-нибудь ценное достанется для продажи в Астрахани.

Никита поспешил к костру за своей живой добычей, а когда проходил мимо толпы пленных кизылбашцев, его вдруг окликнули:

– Никита-а, салям алейком!

Никита Кузнецов вздрогнул, обернулся на знакомый голос – так и есть! Среди повязанных сербазов на голых серых камнях сидел его недавний освободитель из кандалов Ибрагим!

– Ах ты, Господи! – вырвалось невольно у Никиты. – Попался в капкан? – Что Ибрагима надо как-то выручать, это решение пришло в голову тут же, но как это сделать? Он шагнул к караульным казакам, спросил у старшего годами:

– За кем, братец, сей кизылбашец?

– Это который? – переспросил казак, оглядываясь на пленников.

– Да вон тот, крайний к нам. Вон, рукой себя в грудь тычет, – пояснил Никита, видя, что Ибрагим, догадавшись, о ком зашла речь, делает пояснительные знаки.

– О-о! – с немалым восхищением вырвалось у старого казака. – Этот сербаз за самим атаманом! Батька его под каменной крепостью обезоружил и повелел связать. Бился с нами, под стать бесу опьяненному, право слово... А он тебе к чему? – любопытствовал казак и насторожился – стрелец все же, не свой брат-казак допытывается.

Подошел есаул Ромашка Тимофеев, спросил, в чем задержка. Никита пояснил, что вон этот кизылбашец Ибрагим и есть тот самый, кто спустил его из железных кандалов и кинжал дал. Теперь долг за Никитой добром ему отплатить.

Старый казак, выслушав эти пояснения, с сомнением покачал полуседой головой, мудро изрек:

– Како среди чертей не встречалось допрежь шерстью белого, тако же и средь кизылбашцев не доводилось еще сыскать сердцем к казаку ласкового... Ежели только этот сербаз истин-

⁵¹ Куржум (*астрх.*) – персидская лодка. Куржумные деньги – магарычи, плата за перевоз на судах людей и грузов.

ный кизылбашец, – добавил уже с долей сомнения казак, оглядываясь на Ибрагима. Тот издал кивнул ему головой. – Ишь, нехристь, кумекает, что про него гутарим.

– Посади на его место своего кизылбашца, а с этим идем к атаману, – сказал Ромашка. – Как порешит Стяпан Тимофеевич, так оно и будет, брат Никита.

– Вот бы уговорить нам атамана, – с надеждой выговорил Никита и побежал к костру, где оставил свой полон. Привел, сдал старому казаку под стражу, а Ибрагима – на поруку есаула Ромашки – взял.

– Надо же! – дивился старый казак, – будто цыган на ярмарке коней поменял! Ну, счастлив твой аллах, кизылбашец, о том тебе батька Разин скажет...

Через десять минут они снова были на атаманском струге.

– Ого-о! – удивился Степан Тимофеевич, признав Ибрагима. Даже атласную шапку пальцем двинул со лба на затылок. – Неужто сбег из-под стражи? Так секите его ко псам, неумного! А дозорному казаку за ротозейство десять плетей по заднице, чтоб неделю сесть не мог!

Ромашка выступил вперед и за Никиту Кузнецова пояснил дело.

– Вона-а что, – в раздумии проговорил Степан Тимофеевич и, прищурился подозрительно потемневшие глаза, строго спросил Никиту: – Ежели он, как ты гутаришь, добр к нашему брату, христианину, отчего так лихо дрался супротив? Меня, чертяка, едва не посек. Ладно, Мишка Ярославец его арканом, словно паука муху, спеленал!

– Степан Тимофеевич, чать он на службе и себя от полона до крайности оборонял! – осмелился заступиться за Ибрагима Никита, отлично понимая, что если в сердце атаману заподет черное подозрение, то и ему роковой сабли не миновать! – А за что меня спустил из кандалов, так вот какое допрежь того дело было... – И Никита вкратце поведал о том, как кровники пытались свести с Ибрагимом давние счета, а он, Никита, подмогнул своему стражу. – Вот потому он да его братец Давид благоволили мне все это время и за веслом ни разу плетью не ударили... А как выпал случай надежный, и возможность уйти к вам, – и Никита поклонился атаману рукой до пола, прося войти в милость к человеку иной веры.

– Ты сего черного куркуля спустить хочешь? – уточнил Степан Разин и брови нахмурил. – А ну как он сызнова прилепится к шаху да в ином месте учинит с нами сечу? Такой зверюга не одного казака в драке посечь может до смерти!

У Никиты на миг закралось в душу такое же опасение, и он готов был согласиться с атаманом, потом, обернувшись к Ибрагиму, который со связанными руками стоял в пяти шагах около мачты, как мог, мешая слова, поделился опасениями казацкого предводителя.

– Нет, Никита! Нет! – замотал Ибрагим головой. – Мой шахам больше не хочу! Мой с Никитам хочу! Иншалла, иншалла! – и вдруг, к общему удивлению, словно прорвало бывшего стражника: – Шах Аббас – пэдэ сэг! Шах Сулейман – пэдэр сэг! Никита – карош урус!

Казаки, бывшие при атамане в ту минуту – а пуще всех кривоплечий Лазарка, – расхохотались так, что Ибрагим смутился, побледнел, решив, что за такое оскорбление наместника аллаха на земле ему тут же снесут голову или предадут лютой казни – живьем кинут в клетку с гепардами, которые, он знал, содержатся в здешнем шахском дворце.

– Ух, леший горбоносый, распотешил! – утишив смех, выговорил Степан Тимофеевич. И к Никите, уже серьезно: – Дело мое такое, стрелец: коль раз поверил, то верь до конца! Коль не хочет более служить сукиному сыну Аббасу или его Сулейману, как слух прошел о смерти старого шаха, пушай остается. Пристрой его, Ромашка, на весла, но без обиды чтоб, пушай с нами по своему Кюльзум-морю поплывет! Авось и с шахом еще повстречается альбо с воеводами его. Да все же, стрелец Никита-а, – со смехом передразнил Ибрагима атаман, – глаз с него не спущай! Ведомо мне, коль Бог попускает, то и свинья гуся споймает... Ежели какая поруха войску от сего кизылбашца случится умышленно – лучше сам сигай в море и пеши добирайся до своей Самары, не жди, когда мои казаки тебя спроводят... за борт. Уразумел?

– Уразумел, батюшка атаман, – весь напрягшись от этого нервного разговора, ответил Никита, снова поклонился. За ним, вздыбив над спиной связанные руки, низко, головой едва не до колен, поклонился высокий и гибкий Ибрагим, смекнув, что продавать его в рабство не будут. И радостная улыбка осветила его смуглое лицо.

– Ну, ступайте, – махнул рукой казацкий вожак. – Мне надобно побыть одному для роздыха. – Он снял шапку, пригладил вьющиеся, падающие на высокий лоб волосы.

Казак, да как и всякий русский человек, суровый и яростный в сече, отходчив и доброжелателен в мирные часы. Встретили Ибрагима веселыми шутками, а когда прознали от своего есаула о немалой его заслуге в удачливой сече здесь, на берегу, принялись угощать кизылбашца остатками горячей пшенной каши, отрезали добрый ломоть черствого уже, правда, хлеба.

– Ешь, ешь, кунак!⁵² – приговаривали казаки, кружком обсев улыбающегося Ибрагима. – Ночь-то вона какая лихая выдалась и тебе, и всем нам, – и кивали на дымящийся в нескольких местах город. – Порушен изрядно невольничий Дербень! Сколь зла здесь сотворено христианам! Сколь слез здесь пролито! И сколь косточек российских в здешних землях закопано по-собачьи, без соборования, без святого креста над могилой! Помстились за всех своих братков, так и на душе легче стало...

А после обеда с атаманского струга донеслась, передаваемая из уст в уста, команда:

– Взымай якоря-я! Отчаливай в море! На веслах не дремать! Аль зря вас атаман жирной кашей кормит!

Никита Кузнецов и Ибрагим, вдвоем ухватившись за одно большое весло, под команду старшего смены начали работать, стараясь выдерживать заданный ритм. Длинные весла с чмоканьем врезались в пологие волны, гнулись, преодолевая сопротивление воды, потом взлетали вверх, как взлетает из родной стихии разыгравшаяся рыбица, сверкая серебряными боками на солнце. Ибрагим, стараясь грести изо всех сил, все дивился и цокал языком – отчего это у казаков на веслах они сами, а не закованные в цепи невольники?

– Да потому, что, случись быть на море какому сражению, те невольники невесть куда погребут, – со смехом отозвался за спиной Никиты кто-то из казаков.

Никита, радуясь счастливому избавлению от неволи, усмехнулся, слушая острые, иногда и едкие шутки сидящих рядом казаков, изредка, когда струг поднимался на волне, сквозь прорезь в правом борту видел удаляющийся дымный Дербень. И думал, а скоро ли судьба приведет его вновь в родимую Самару, к родному, недостроенному подворью.

«Теперь уже и неприбранные головешки за лето и новую весну бурьяном заросли, – с горечью думал Никита, не переставая работать веслом, то и дело касаясь плеча своего нового побратима. – А я вновь не к родному дому несусь, а от России вдаль... И не с торговым делом, а с ратным промыслом. Пошли забубённые казацкие головушки шарпать персидские города, зипуны себе добывать, и я поневоле с ними увязался... Не мочно отбиваться от крепкого стада, вмиг новые волки на мою душу объявятся... Как знать, может, нас и в Решт судьба занесет? Не худо бы Лушу в Россию забрать, а с тезиком Али крепким словечком, а то и зуботычиной перекинуться за его подлое предательство. А там и домой как ни то...»

Домой! Домой рвалось его истосковавшееся по семье сердце, а струг уносил его от дома, от России. От России, где и с уходом ватаги Степана Разина не утихал мятеж казацкой голытьбы и мужицкой вольницы, как долго не утихают на водной глади широкие круги, если ухнул с кручи огромный камень.

⁵² Кунак (*татар.*) – приятель, знакомый, с кем ведут хлебсоль.

Глава 2. Восстание на Яике

1

Есаул Максим Бешеный натянул повод, сдерживая утомленный бег вороного коня, и конь послушно перешел на шаг, перестав отбрасывать копытами, словно ошметки⁵³, комья земли, влажной от недавнего дождя.

– Поспускай гашники⁵⁴, братья казаки! – зычно подал команду есаул. – Да торбы приседельные сымай! Нам обед приспел, а коням роздых потребен, вона как бока потом покрылись у лошадок!

Тринадцать казаков из Верхнего Яицкого городка гнали коней, вот уже который день поспешая попасть в Нижний Яицкий городок⁵⁵ с важными вестями: собираются верховые казаки немалым числом, чтоб пристать к ватаге атамана Разина и купно двинуться за зипунами в Хвалынское море.

– Эко, треклятый дождик все измочил, сухого места для задницы присесть и то не сыщется! – проворчал бывалый, с седыми на висках лохмами казак Ивашка Константинов. Он тяжело слез с каурого жеребца, разнуздал его, хлопнул по влажному боку, словно молодому рекруту приказал: – Марш к Яику на водопой!

Отпустил следом своего воронка и Максим Бешеный, встряхнул полупорожнюю приседельную сумку – изрядно уже приелись за минувшие дни гона вдоль Яика! – покосил продолговатыми черными глазами на шумных спутников. Облюбовав поваленное половодьем дерево, они под стать весенним грачам облепили ствол и толстые ветки. Сплюнув на мокрую траву сквозь передние выбитые зубы, Максим тронул Ивашку за крепкий локоть, подтолкнул легонько.

– Идем к ним. Вона как ловко надумали на дереве угнездиться!

Изъяли из чистых тряпиц вяленую говядину, круглые луковицы, ржаной хлеб. Ивашка Константинов с остервенением встряхнул пустую фляжку, сожалея, что еще вчера за ужином не удержался и допил последний глоток домашнего вина!

– Дядько Иван! Давай я до Яика сгоняю да хоть водицы черпану! Все булькать будет и сердцу полегчает! – озорно крикнул молодой безусый казачина. Да еще, бесенок, и ногами забултыхал по воздуху, словно уже бежал к реке, до берега которой было сажени три.

Казаки заржали, зная, как страдает «дядько Иван», ежели привычная к руке фляжка теряла свой вес до самой низкой отметки и бывала сухой более одной ночи.

– Э-э, жеребцы необъезженные, – незлобиво отмахнулся от насмешки Ивашка Константинов. – Вам только и заботушки, что рыготать до икотки да за девками пыль сапогами взбивать... А ну, кто супротив меня станет кушак тянуть? Кто перетянет – отдам месячное жалованье! Выходи, хоть и по двое, коль у одного кишка тонка! Ага?!

Казаки дружно занекали.

– Как же! Жди, когда черт помрет, а он еще и не хворал! – скоморошничал здоровый молодой казачина, который предлагал Ивашке сбегать к Яику за водой. – Тако и с тобой, дядько Иван, за кушак тягаться безнадежно!

⁵³ Ошметки – истоптанные, избитые лапти.

⁵⁴ Гашник – опояска, на которой держатся штаны.

⁵⁵ Нижний Яицкий городок – современный Гурьев.

– Разве тебя, бурлака самарского, сдерешь с земли! – добавил казак лет тридцати с вьющимися рыжими кудрями, прозванный за этот огненный цвет волос Петушком. – Ты, поди, и без подмоги один груженный паузок⁵⁶ встречь воды тянешь... Особливо ежели на спор, а?

– Ну-у, один не утяну, – добродушно отозвался Ивашка поразмыслив, почесал бороду, с хитринкой в глазах подмигнул есаулу. – А вот ежели Максимка плечом подсобит – утянем!

– Да кабы знать к тому же, что на паузке том добрая бочка водки выставлена спорщику! – добавил Петушок, подстраивая свой звонкий голос под хриплый говор Константинова.

Давясь едой, казаки снова захохотали, видя, как Ивашка посуровел выгоревшими русыми бровями: на большую мозоль давят, бесенята безбородые. Осерчать бы на них за такое бессердечие, да любил их старый казак, давно лишившийся своего дома и семьи и нашедший себе в этих зубоскалах беспечных покой и утешение сердцу.

Максим Бешеный встал с ветхого, давно подмытого половодьем дерева, затянул приседельную сумку и вскинул взгляд к небу: белые кучевые облака медленно уходили в сторону трухменских земель.

– Пора, робятки мои молодые, отлипайте от дерева. Надобно нам завтра еще засветло добраться до Гурьев-городка. Иначе не пустят в ворота, коль к заходу солнца не поспеем. – И подумал вслух: – Интересно мне, кого атаман Разин оставит в городе за старшего по отплытии в море? Сказывали понизовые казаки, что списывался он с Федькою Сукниным... То добрый казак и разумный есаул, знаю. Должно, он и сядет теперь заместо воеводы.

– Федьку Сукнина и я знаю, – проговорил Ивашка Константинов, тяжело поднимаясь в седло. Вот уже пятый год как, бросив бурлачить на Волге, ушел он из Самары к яицким казакам, а поноровка в теле все та же, бурлацкая, неторопливая и кряжистая. – Башковитый казак, и воевода аль походный атаман из Федьки добрый будет. И женка, робята вы мои полусопливые, у него мастерица крепкие наливки варить! Ужо по приезду угостимся на славу...

Эх, знать бы наперед, какое угощение ждало казаков в Гурьев-городке, так, не мешкая, поворотили бы они коней, погнали бы их по Яику-Горынычу встречь течению, к родным куреням бить сполох... Но ни спокойный ход воды в реке, ни ласковое летнее солнышко – а оно по началу августа грело еще не скупясь на тепло, – ни птичье щебетание в тальниковых зарослях – ничто не предвещало грозы. А гроза-то была уже совсем рядышком, за густыми левобережными ивняками и за раскидистыми ветлами, где скрывались дальние дозоры стрелецкого головы Богдана Сакмашова, крепко засевшего в Гурьевской каменной твердыне с наказом запереть Яик крепко, чтоб верховым казакам не сойти вслед за разинцами в Хвалынское море...

Не ведали в яицких верховых куренях, что по весне, едва явилась возможность войску идти степью, астраханский воевода князь Иван Андреевич Хилков, уже оповещенный, что на замену ему от великого государя и царя Алексея Михайловича послан новый воевода князь Иван Семенович Прозоровский, застрявший по зимнему времени в Саратове, рискнул промыслить над воровскими казаками Разина, укрывшимися в зиму в Гурьев-городке. Для побития голытьбы и поимки мятежного атамана из Астрахани вышло сильное войско под началом полкового воеводы Якова Безобразова.

Промысел этот, увы, оказался для астраханского воеводы неудачным – полковой воевода Безобразов потерял в бою с казаками более полусотни стрельцов и солдат, многие служивые переметнулись к атаману. Степан Разин, не вступая в решительное сражение – у него был иной замысел на грядущее лето, – счастливо выскочил из капкана и ушел в Хвалынское море, а там искать его струги столь же безнадежное дело, как и ловить в Яике голыми руками соскочившего с крючка верткого налима...

⁵⁶ Паузок – речное мелководное судно, для перегрузки клади с больших судов на мелководье. Небольшой дощаник.

Оставив в Гурьев-городке стрелецкого голову Богдана Сакмашова, а ему в подмогу собрав из ближних яицких поселений годовальников⁵⁷, походный воевода Безобразов возвратился в Астрахань, где и сдал стрельцов новому полковому воеводе Михаилу Прозоровскому, брату астраханского воеводы. Потому-то и ждал в Яицком городке Максима Бешеного не походный атаман Федор Сукнин, а стрелецкий голова Богдан Сакмашов со своими ратными людьми.

Но прежде чем маленький отряд есаула Бешеного приблизится к городу, развернем старинный государев указ и прочтем следующее:

«От царя-государя и великого князя всея Руси Михаила Федоровича на Яик-реку строителю купчине Михаилу Гурьеву и работным людям всем.

На реке на Яике устроить город каменной мерою четырехсот сажен⁵⁸, кроме башен. Четырехугольный, чтоб всякая сторона была по сту сажен в пряслах⁵⁹ между башнями. По углам сделать четыре башни, да в стенах меж башен поровну – по пятьдесят сажен. Да в двух башнях быть двоим воротам, сделати тот каменный город и в ширину и в толщину с зубцами, как Астраханский каменный город. Стену городовую сделать в толщину полторы сажени, а в вышину и с зубцами четырех сажен, а зубцы по стене делать в одну сажень, чтоб из тех башен в приход воинских людей можно было очищать на все стороны.

А ров сделать около того города – копати новый и со всех сторон от Яика-реки; по Яик-реке сделать надолбы крепкие, а где был плетень заплетен у старого города, там сделать обруб – против того, как⁶⁰ сделан в Астрахани. А на той проезжей башне Яика-города сделать церковь Шатрову во имя Спаса нерукотворного да в верхних приделах апостолов Петра и Павла, а башни наугольные сделать круглые...»

Городские башни имели пушки подошвенного и головного боя, били вдоль земли по близкому противнику и с высоты на более значительное расстояние. Казаки есаула Максима Бешеного приблизились к каменной тверди Яицкого городка после полудня. У закрытого проезда сквозь надолбы перед рвом увидели стрельцов Головленкова приказа – в малиновых кафтанах, с ружьями и при саблях, в руках длинные бердыши. Им бы, казакам, насторожиться, но Максим знал, что у Степана Разина в войске едва ли не каждый третий из переметнувшихся стрельцов, и потому на окрик сторожа: «Кто такие и к кому правите?» – Максим Бешеный, не задумываясь, ответил:

– Казаки Верхнего Яицкого городка с добрыми вестями к батюшке атаману Степану Тимофеевичу. А станется, что батьки уже нет, то к тутошнему походному атаману.

Стрелец от надолбных ворот по мосту через ров прошел к башне, стукнул кулаком в небольшое окно. Показалось чье-то бородатое лицо, переговорили между собой. Казаки, подъехав вплотную к надолбам, через раскрытые городские ворота увидели, что от башни в центр города наметом погнал коня еще один стрелец.

– Ты чего это, борода мочальная, мешкаешь? – прокричал с хрипотцой изнывающий от жары и нетерпеливый до кабака Ивашка Константинов. А кричал он караульному у надолбов, который не спешил отойти от окошка в башне, где располагался старшой над воротной стражей. И вороной конь есаула уперся грудью в заостренные верхи толстых столбов, вкопанных в двадцати сажнях от рва, – не враз-то подскочишь к каменной тверди, многие полягут, пока будут перелезать через это препятствие перед рвом.

⁵⁷ Годовальник – казак или стрелец, посланный служить вдали от дома сроком на один год.

⁵⁸ Сажень – 2,14 метра.

⁵⁹ Прясла – часть городской стены от башни до башни.

⁶⁰ Против того, как – так же, как...

– Чего ж мне не мешкать! – отозвался от башни молодой и щекастый стрелец с коротенькой окладистой бородкой. – Не блох ловить поставлен, а к службе. Да и ты, казак, в город едешь не родильную ложку с солью да с перцем есть!⁶¹ Скажет начальство впустить вас – отопру надолбу, не скажет – не отопру...

– Да как ты смеешь не пускать казаков к атаману, ежели мы к нему от верхового войска посланы! – звонко, возмущившись, выкрикнул задиристый Петушок и плетью погрозил недосыгаемому стрельцу. – Вот только дай войти в город, перескубу твои волосишки в бороде!

Стрелец был не робкого десятка, сверкнул глазами, словно бы для того, чтобы получше разглядеть грозильщика, прокричал в ответ не менее сурово:

– А что ж, рыжий, давай сойдемся! Токмо я твои петушинные перья считать не буду, а почну драть пучками – и с головы и с хвоста!

Казаки у надолбы, в том числе и Максим Бешеный, засмеялись, ибо ответ стрельца пришелся и им по нраву, да и Петушок был поражен острым словом караульщика.

– Ну-у, ирод ненашенский, берегись! – вновь принялся страшить Петушок и в седле привстал, чтобы казаться грознее. – У меня костяшки на кулаках неделю свербят, о твои зубы почесаться не против!

– Полай, рыжий кобелина! Полай да облизнись! – не уступал стрелец, невозмутимо и сам подобно надолбе торчал у противоположного края мостика через ров, облокотясь обеими руками на ратовище⁶² бердыша. – А коль шустрый, под стать блохе прыгучей, скакни сюда...

Максим Бешеный прервал перебранку:

– Оставь его, Петушок! – громко проговорил он, всматриваясь в город через узкие ворота. Да не много увидишь издали – кусок улицы, плетни да углы амбаров... – Испуган зверь далече бежит! Как бы и твой переговорщик со страху от башни не сбежал, службу кинув!

Конный стрелец воротился к башне, крикнул старшему внутрь:

– Велено впустить и проводить гостей жданных!

Из башни через окошечко высунулась сытая краснощекая голова, с бородой и в малиновой шапке, сверкая непонятной улыбкой, прокричала караульщику у надолбы:

– Афонька! Отопри калитку, пуцай въезжают, баня протоплена, венички нагреты... Позрим, сами ли не из пугливых? Дураку и в алтаре спуска нет, коль что ляпнет непотребное! А тут, я вижу, чертова дюжина дураков вваливается! – и недобро захохотал, потом исчез из окошка, словно суслик в норку юркнул проворно.

Караульный стрелец неспешно перешел по мостику над рвом, приблизился к надолбе и, не глядя на казаков, прогремел замком и железными запорами, отворил тяжелую калитку. Так же молча пропустил всадников, пропотевших и пыльных, снова закрыл калитку и следом за казаками пошел к воротной башне.

– Где батюшка атаман проживает? – спросил Максим Бешеный у караульного стрельца на башне. Тот, заломив шапку, ухмыльнулся и ответил двусмысленно:

– Батюшка атаман давно уже в Хвалынском море гуляет, душу свою удалую тешит. А вот вы, казаки, поздноват к нему собрались с поклонами да с гостинцами... Не обессудьте за таковую свою оплошку!

– И то, – в раздумии согласился Ивашка Константинов, помял наполовину седую бороду. – Соколу на воле гулять, не в каменной клетке боярских сокольников дожидаться... А кто атаманит за него?

– Езжайте прямехонько на площадь, к войсковой избе, – и рукой махнул в глубь города. – Тамо вас по нашему уведомлению уже ждут, – и снова с загадочной усмешкой прокри-

⁶¹ Обычай потчевать отца новорожденного ложкой каши, круто посоленной и наперченной. «Солоно и горько рожать», – говорила при этом бабка-повитуха.

⁶² Ратовище – древко копья, бердыша или рогатины.

чал сверху: – Не тужите, казаки, по своему съехавшему атаману! И на погосте бывают гости, которые ночуют да горя не чувуют! Эх ма-а! – и как-то сожалеючи о чем-то в душе, продолжал смотреть на ехавших мимо казаков.

На стене между зубцами, ближе к воротной башне, появилось более десятка стрельцов с пищальями. И в самой башне стало многолюднее в бойницах. И тут до сознания Максима Бешеного дошло вдруг только что сказанное стрельцом: «Не тужите, казаки, по своему съехавшему атаману!» За все время стражники ни разу не произнесли с уважением имени атамана, не выказали к нему сердечного расположения, а говорили с какими-то недомолвками. Тяжело забухало сердце, к голове прилила кровь. И не за себя встревожился, за молодых казаков...

– Кажись, влипли, Иван, – стараясь взять себя в руки, негромко сказал Максим Бешеный товарищу. – Не атаманово в городе войско!

– Теперь и я тако же думаю, Миша, – отозвался Ивашка Константинов. – Вишь, ход назад нам перекрыли... Тяни, бурлак, лямку, покудова не выкопают тебе ямку! Так и у нас получается. Что делать станем, есаул?

– Делать нечего, брат. Едем к войсковой избе. В городе, должно быть, есть и наши годовальники, из верхнего городка... Ежели с нами что пакостное сотворят, они весть дадут атаману Леско. – И повернулся к притихшим казакам: вид затаившегося чужого города и на них повлиял удручающе. – Смелее, робята! Экая духота в здешнем каменном амбаре! За неделю из человека сушеная вобла получится, воеводе на гостинец.

А от раскаленных стен, башен, от крыш домов и от пыльной дороги пыхало на них таким жаром, что горели, казалось, конские копыта. И близость Яика и моря не спасала от этой изнуряющей жары: через высокие стены легкое дуновение с Хвалынского моря не освежало ни стен, ни людей.

– Диво, как люди терпят адово пекло, – чертыхнулся один из казаков за спиной Максима Бешеного. – Попервой я в низовом городке оказался, и не приведи Господь служить здесь годовальником! Тоньше тростничка домой воротишься. Сморщенного такого женка и в постель к себе под бок не пустит!

Приметив у открытой калитки пожилую женщину в черном траурном платке – знать, кого-то потеряла недавно, – Петушок склонился к ней с седла и без обычных шуток спросил:

– Нет ли у тебя, баушка, отмогильного зелья?

Старуха торопливо закрестилась, оглянулась на просторное подворье, где стояли кони под седлами. Максим Бешеный по голосам из открытых окон догадался, что там на постое проживают астраханские стрельцы. Посмотрев на рыжего Петушка, словно стараясь увериться, что казак над нею не потешается, старуха ответила:

– Кабы был-то у меня отмогильный камень альбо зелье, то и своего соколика Фролушку нешто не уберегла бы... Дай Бог тебе, соколик, ежели умереть, то дай Бог и покаяться!

– Э-э, баушка, – засмеялся молодой казак, проезжая мимо Петушка и старухи. – Казаки на бой попа с собой не возят. Да и рановато нам умирать, молодцам!

– Не годы мрут, сынок, люди! – Старуха посторонилась в глубь двора – за казаками улицей ползла седая пыль, взбитая конскими копытами.

Петушок подъехал поближе к есаулу, со вздохом сказал:

– Не-ет, братцы, скорее либо в море к Степану Тимофеевичу, либо домой, к бабам своим, альбо к чужим, без разницы... – и захохотал, беспечно откинувшись в седле.

– Погодь, Петушок, залезать к курочке под крылышко, потому как угодили мы к дьяволу в когти, – негромко прервал казака Ивашка Константинов, взглядом указывая вперед, где тесная улочка упиралась в городскую площадь. – Позри, у войсковой избы с полста стрельцов нас с почетом встречают!

Казаки, въехав на площадь к двухэтажному рубленому дому с новой тесовой крышей и с тремя окнами на передней стене, остановили коней, их окружили хмурые, недовольные

стрельцы в малиновых кафтанах, а на крыльце с четырьмя резными круглыми столбиками со свитой степенных сотников в новеньком кафтане с петлицами поперек груди стоял сам голова Богдан Сакмашов, телом тучноватый, с высокомерным лицом, с бородкой и бакенбардами, а глаза с прищуром, настороженные: понимал голова, что не сваты приехали, взамен тыквы можно и пулю от них получить! И все же не сдержал себя, сразу перешел на брань:

– Ну, рвань воровская, вались с коней! Да не вздумайте за пистолы и ружья хвататься – тут вам тогда и быть в куски изрубленными! Ишь, к разбойному атаману они снарядились! Слазь!

Прокричал громко, наливаясь пунцовым цветом от злости, – над собором кружили вспугнутые звонарем горластые галчата и несколько ворон.

– Что делать, Максим? – повернувшись в седле к есаулу, довольно громко спросил Ивашка Константинов. – Убить сию гниду, а?

– Казаков сгубим за одну воеводскую собаку, – ответил с презрением Максим Бешеный, глядя в лицо стрелецкому голове, потом тихо добавил: – Поглядь, за стрельцами к войсковой избе годовальники набежали. А вон, за молодыми, я узнал знакомого, старого бывальщика Гришку Рудакова... Гришка всенепременно известит атамана Леско, что с нами тут сотворилось неладное...

– Чего шепчетесь, разбойники? Долой с коней! Садил баба репу, а вырос поросень! Так и у вас получилось, неумехи! Сабли и пистолы кидайте сразу! Гей, стрельцы, цель пищали в изменщиков великому государю и царю!

Стрельцы, выполняя приказ, наставили на казаков заряженные пищали, и Максим Бешеный первым отстегнул пояс и ножны, кинул к ступенькам крыльца. Туда же упал и его пистоль, а ружье принял пожилой стрелец, глянув на есаула глазами, в которых отразилось сострадание и чисто человеческое любопытство: ну, как дальше себя вести будете? Надолго ли хватит выдержка? И Максим Бешеный с усмешкой крикнул с седла:

– Сбереги, стрелецкий голова, мою саблю до той поры, покуда не воротится с моря славный атаман донской вольницы Степан Тимофеевич с богатой добычей и с казной немалой! А ему в подмогу по Яику скоро сойдут сюда казаки всех верховых куреней! Так что подумай, кому ты грозишь. Не накликать бы себе беду на горе, как накликал ее на свою голову Ивашка Яцын!

– Молчать, рвань воровская! – Богдан Сакмашов в злобе ногой притопнул и лапнул саблю, словно намеревался тут же свершить свой приговор. – Вяжите их накрепко! Да в Ильинскую башню в подвал под караул! А как поедет в Астрахань по скорой замене, так и свезем воров на крепкий спрос к воеводе и князю Прозоровскому! Сдается мне, что с дыбы да с пытки враз пояснят, к кому и с каким воровским умыслом шли! И кто еще к воровству прилепиться мыслит! Вязать их!

Не дожидаясь, пока потянут из седла, Максим Бешеный успел и без пыток сказать, адресуясь к яицким годовальникам и астраханским стрельцам:

– А в том нет никакой тайны, робята! Шли мы служить атаману Разину, к тому и вас зовем, славные яицкие казаки, младшие дети Великого войска донского! И вас, стрельцы астраханские и иных волжских городов! Наши братья таперича гуляют по кизылбашским городам и зипуны себе да полон берут с бою...

– Заткните ему собачью пасть! – топая ногами на выскобленных досках крыльца, кричал стрелецкий голова. – Сколь можно слушать воровские речи! Пятидесятник Салтанов, вяжите воров!

– А вы здесь в каменном мешке сидите, своих братьев в темницы пихаете! – не унимался Максим Бешеный и так яростно глянул на подбежавших было к стременам стрельцов, что те в нерешительности остановились, не смея вырвать казака из седла. – Ждете годами, когда царева казна выдаст вам жалованье! Не скоро! Воеводы ох как тяжело расстаются с вашими деньгами, будто с детишками своими ненаглядными... А ну, пошли вон, псы воеводские!

Подскочили два рослых пятидесятника, за ногу сдернули Максима с коня, пытались было крутить руки. Есаул напрягся железными мышцами, отшвырнул одного из ретивых служак, пятидесятника Салтанова, едва не до крыльца, а второй, заглянув в глаза Максима, отпятился.

– Тьфу, черт! Ишь, зыркает, как пес бешеный! Стрельцы, вяжите ему руки!

– Я те повяжу, тумак⁶³ воеводский! – сквозь выбитые зубы прошипел Максим. – Ярыжника пьяного у кабака тебе вязать, а не удалого казака! – И протянул руки подступившим стрельцам. – Ваши зубы жалею, детки, вам еще редьку грызть да девок целовать!

– А где ж свои потерял, свистишь теперь, как лесной разбойник? – вроде бы в шутку спросил пожилой стрелец, завязывая веревку на запястьях Максима.

– На прежней государственной службе, – ответил Максим Бешеный. – Сотник лихой попался, пришлось и ему пасть кулаком запечатать... Да с тем и сошел к яицким казакам!

Дался без сопротивления и Ивашка Константинов, а за старшими – и все бывшие с ними казаки. Только рыжий Петушок не утерпел и пнул настырного стрельца, когда тот, страшая, замахнулся кулаком.

Их подвели к Ильинской наугольной башне, сохранившей следы прошлогоднего здесь боя стрельцов Ивана Яцына с казаками: разбитые деревянные ворота валялись в бурьяне близ стены, а взамен их желтели свежим деревом новые.

– Казаки! Стрельцы! – успел крикнуть снова Максим, пока отпирали запоры башни. – Аль не страшитесь кары от Степана Тимофеевича, когда по осени возвратится он в город и спрос снимет?

– Иди, иди, громыхало воровское! – приказал хмурый Салтанов, который пытался было перед этим стащить Максима с коня и повязать. – Твоего Стеньку – воровского атамана тако же кровавая плаха ждет! Знаем, более полутора сот наших братьев-стрельцов порубил его палач Чикмаз! Вона там, в двадцати шагах от этой башни, велел атаман выкопать яму... Такое простится ли? Дай курице грядку – изроет весь огород! Дай ворах волю – вздыбят всю Русь!

– Не надо было биться супротив казацкого войска! – ответил на это обвинение Максим Бешеный. – И теперь сызнова боярскую сторону держите. Неужто вас за это злодейство атаман персидскими халатами будет одаривать?

Звякнула, открываясь, железная решетка за деревянными толстыми створками двери, открылся вход в подземелье, темное, без малого даже оконца. Стены выложены из черного камня. Вдоль левой стены длинная лавка – вот и вся мебель. В углу высоко, у самой двери, смоляная коптилка, пламя которой моталось от воздуха, проникающего в щель над дверью.

– Зимуйте, разбойники-воры, тут вам достойные хоромы! – хохотнул в гулкой тишине стрелецкий пятидесятник Салтанов, захлопнув решетку и закрыв ее на замок снаружи. – Глядите тут в оба! – приказал караульным стрельцам. – Ежели кто подойдет к решетке с улицы – гоните прочь и извещайте стрелецкого голову.

– А от нас, Салтанов, передай Сакмашову, чтоб не мешкал и ладил себе домовину! Потому как это о нем сказано: та не овца, что в лес за волком угоном пошла! – И Максим Бешеный расхохотался так, что у стрелецкого командира по коже будто крещенский мороз прошел. Салтанов, перекрестясь, пробурчал чуть слышно и сделал два шага от решетки к створкам двери:

– Ин вправду о таких-то ворах говорят, что годится казак чохом своим на ветер, шкурой на шест, а головой чертям в лапту играть! – и в успокоение дрогнувшего сердца громко ответил казакам: – Так-то ли зубы скалить будете, когда оженит вас воевода не на красной девице, а на березовой вице!⁶⁴

⁶³ Тумак – помесь волка и собаки.

⁶⁴ Вица – хворостина, розга, хлыст.

– Ах ты, воеводский пес! – прокричал вдогонку Максим Бешеный. – Погоди, ино попадешь и ты ко мне под шерстобитный смычок! Знай, репьем осеешься, не жито и взойдет!

Пятидесятник, не желая оставаться в долгу в словесной перепалке, уже закрывая за собой толстую дверь, со смехом ответил казацкому есаулу, поиздевавшись напоследок:

– Чудны дела твои, Господи! Вот и у нас тако же – сама мышь залезла в кувшин, а теперь кричит «пусти!». – И к караульным с повторным наказом: – Зрите в четыре глаза каждый! Сами видите, каких оборотней ухватили! Такие и вас передушат, чтоб сбечь на волю и лиха натворить. Доглядывайте, чтоб от тутошних казаков ни слова к ворах не просочилось. Иначе такая заваруха может выйти, что и всей воды Яика не хватит пожараща затушить...

* * *

И потекли дни, похожие друг на друга, словно серые утицы в приречных камышах, мало различимые между собой...

Изредка казакам приносили скудную еду, ставили на лавку один на всех большой чугунок, связку деревянных ложек да каравай хлеба. Ножа хлеб порезать не давали, и Ивашка Константинов, как самый старый из них, своей рукой, стараясь никого не обидеть, делил хлеб, а кашу черпали по очереди. На все попытки заговорить присылаемые с едой стрельцы отмалчивались или делали глазами знак на пятидесятника Салтанова, который неизменно, положив руки на пистолы за пояс, загораживал собой выход из смрадного подвала, куда свежий воздух проникал только при открытой двери.

Прошло не менее недели, и казакам сказали, что через день-два их закуют в кандалы и, кинув в трюм струга, повезут в Астрахань.

– Стало быть, пришло время Сакмашову покидать Яицкий городок, – вздохнул тяжело, словно потеряв последнюю надежду на счастливое освобождение, Ивашка Константинов. – И нас увезут... У воеводы Прозоровского с дыбы не убежать, робята... – И, словно бы молитву к Господу, произнес желанное: – Вот кабы атаман Разин прознал о нашем бедствии и струги по дороге на Астрахань перехватил!

Однако в ночь на одиннадцатое августа свершилось то, чего мало кто в городе ожидал, а тем более казаки в подземелье!

– Выходи, коль не вмоготу терпеть! – отозвался караульный стрелец на стук в двери Максима Бешеного – по нужде их выпускали только ночью и по одному. – Да не лезьте гамузом! Один иди!

– А мы и не лезем кучей, чего полошишься без причины? – съязвил Максим и со связанными впереди руками пошел между двумя стрельцами из дверей башни вдоль стены, где был деревянный нужник для караульных и арестантов, близ чьего-то плетня вокруг подворья. Ночь была темная, облачная, молоденький месяц лишь изредка выглядывал в разрывы между облаками, несмело освещая спящий город, темные стены и башни, от которых ложились на город широкие короткие тени. У входов в башни и у городских ворот горели по два смоляных факела, но они отбрасывали тьму шагов на пятнадцать, не более. Где-то за площадью спросонок брехнула ленивая собака, ей отозвалась другая, чуть ближе к Ильинской башне. Заголосил петух, извещая, что и он не оставил своей службы, будит стрельцов на очередную ночную службу.

– Руки развяжи, – попросил Максим стрельца, остановившись около двери нужника. – Аль сам гашник на мне развязывать да портки держать будешь? Дело ли стрельцу...

– Помалкивай знай, – незлобиво буркнул стрелец. – Теперь спал бы я преспокойно, а тут вот вас води по нужникам... Нешто служба это? И что выслужись околь нужников да в караулах?

– Кто ж тебя держит, а? – усмехнулся Максим, потирая помятые жесткой веревкой передавленные места, когда стрелец развязал тугой узел. – Ступай к своей бабе под теплый бок. А я и без тебя посижу здесь, на молодой месяц полюбуюсь. И дорогу к башне сам отыщу как ни то, если и товарищ твой уйдет следом...

И шагнул было к расхлябанной двери...

Резкий разбойный посвист разорвал тишину, как рвет ночной мрак яркая вспышка молнии. Из-за нужника через плетень от темных амбаров кинулись чьи-то неясные фигуры. Стрельцы и ахнуть не успели, как их свалили, отняли оружие, заткнули рты ладонями, чтоб не заорали сполоха. Ошеломленный Максим, придерживая развязанные штаны руками, оглядываясь, не враз сообразил, что же происходит вокруг него и близ Ильинской башни.

– Братцы, откель вы? – наконец-то пришел он в себя.

– Да мы с Яику, яицкие осетры, брат Максим! Аль не признал?

Перед ним объявился сутулый от давней кизылбашской пули Григорий Рудаков с саблей и пистолетом. Давние знакомцы обнялись.

– Ну по нужде пойдешь? Покараулить тебя вместо повязанных стрельцов, чтоб не сбег назад в башню? – Григорий, усатый, невысокого, из-за сутулости, роста, напоминал сома и хохотнул так дико, что повязанные стрельцы враз утихли, перестали взывать о милости, говоря, что против воли исполняли караульную при казаках службу.

Максим глянул в сторону Ильинской башни с темницей – куда бежали взять караул целой кучей казаки. От воротной башни неожиданно бубухнул пищальный выстрел – не зная причины, караульный, увидев в свете факелов какую-то свалку у дверей Ильинской башни, пальнул в воздух. И как эхо среди скалистых гор, по всему городку захлопали выстрелы: то громкие на улицах, то приглушенные стенами домов и сенцев. В непроглядном густом мраке тут и там вспыхивали скоротечные ночные сабельные сшибки, близ церкви Петра и Павла полыхнул столб огня, на звоннице церкви Спаса нерукотворного заголосил сполошный колокол...

Есаул Максим Бешеный со своими казаками, ведомый Григорием Рудаковым, вместе с восставшими годовальниками и почти всеми астраханскими стрельцами, кинулись ловить сотников, пятидесятников. Кого подняли дома с постели, кого вытянули за исподнюю рубаху из темного чулана с рухлядью, кого встретили вооруженным уже на крыльце.

– Вот-а он! Братцы, наш пятидесятник Лукьян Зверухин! Имайте его живу для спроса-а!

Но Лукьян Зверухин, зная за собой немалые перед стрельцами проступки и щедрые зуботычины, прижался спиной к бревнам амбара, с яростью обреченного встретил набегающих бывших своих подначальных.

– Лучше битому быть, нежели от вас срамную смерть принять! – выкрикнул пятидесятник. Хлопнул, пыхнув огнем, пистоль, ближний стрелец шагах в пяти вскинул правую руку с саблей, с бега остановился, крутнулся, словно норовя увернуться от летящей в него пули, и рухнул на спину.

– Бе-ей! Кроши вражину-у!

Десяток тяжелых бердышей сверкнули зловеще в свете перепуганного месяца, слабо звякнула сталь сабли, раздался отчаянный крик...

Стрелецкого голову Богдана Сакмашова с двумя десятками верных ему стрельцов и стрелецких командиров словили уже за надолбами, близ Яика, – пытались уйти из города в челнах. В отчаянной драке почти все полегли на песке, а четверых стрелецких командиров ухватили живьем, притащили в город к войсковой избе, где под молодым месяцем и при горящих факелах собрались несколько сот человек. На крыльцо взошел, прихрамывая, Григорий Рудаков – попал-таки из пистоля ему в ногу стрелецкий голова, когда Григорий кинулся наперехват, не дав Сакмашову времени добежать до темного Яика и кинуться в воду... Рядом с Григорием встал Максим Бешеный, Ивашка Константинов, бывший бурлак, стащил с головы шапку, ладонью вытер глубокую, со лба и до темени, лысину: набегался до седьмого пота! Повязанные,

сидели на ступеньках, головой на грудь, Богдан Сакмашов и его четыре сослуживца. Рудаков вскинул перед собой зажатую в пальцах шапку, взывая к тишине.

– Браты казаки и вы, братья стрельцы астраханские и других городов! Сотворили мы то, что умыслили втайне! И вот воля вам всем из-под боярского и воеводского ярма! Отныне вы не псы воеводские, а дети вольного Дона и Яика! И все вольные ветра вам сродни и в подмогу, покудова рука держит саблю, покудова парус будет надут этими ветрами вольности!.. Ведомо вам всем, что к городу идет стрелецкий голова Борис Болтин с войском вам на замену? Так нам не ждать того Бориску здесь, не чинить с ним кровавого боя и не терять бы своих да стрелецких голов – ведь у Бориски могут оказаться и наши товарищи, знакомцы, а то и родственники! Думаю я, братья, надобно нам всем скопом спешно сплыть в Хвалынское море да поспешать к славному атаману Разину! Любо ли вам такое дело, сыны вольницы?

Прокричав, Григорий переступил с ноги на ногу, покривил губы – ныла раненая нога! И то счастье, что пуля рванула только верх мякоти, не ударила поглубже...

Площадь отзывалась сотнями крепких голосов:

– Любо-о! – И взметнулись вверх кривые сабли, копья; отливаясь лунным светом, сверкнули широкие отточенные бердыши.

– А коль любо, так выкрикивайте, кого на атаманское место! И у тараканов есть свой вож, а мы тако же все с усами, и негоже нам быть без атамана!

Со смехом, едва не разом, площадь дружно отзывалась:

– Тебе быть атаманом!

– Твои усы длиннее наших, Григорий! Тебе и водить нас!

– Ты хаживал по морю с атаманом Ивашкой Кондыревым, тебе ведомы кизылбашские города и пули...

– И кизылбашские женки тоже! – прокричал кто-то из казаков, намекая, что Григорий привез из похода трех красавиц, двух продал тезикам в Астрахани, а одну, крестив в церкви, по согласию сделал своей женой и матерью четверых добрых казаков, трое из которых теперь у атамана Разина, а меньшей покудова у мамки под боком...

– Тебе быть атаманом!

Григорий Рудаков скупно улыбнулся – помнят казаки о его прошлых походах! – поклонился на три стороны от крыльца, потом с тревогой глянул на небо: рассвет уже близок, а с рассветом, чего доброго, может нагрянуть и Бориска Болтин! И кто знает, как поведут себя стрельцы в его отряде? Ну как учинят жестокий бой и не дадут возможности свершить задуманное еще по весне? Тогда, уходя в море, Степан Тимофеевич наказывал ему, Рудакову, дожидаться верховых казаков с Яика под рукой атамана Леско и поспешать к нему на помощь к невольничьему городу Дербеню...

– Жду я, дядько Григорий, – говорил Степан Тимофеевич доверительно, с глазу на глаз со старым казаком, – с родимого Дону Сережку Кривого да Алешку Каторжного с крепкой подмогой. Да ты привел бы ко мне яицких молодцев с полтыщи! Вот и была бы нас сила супротив кизылбашцев. Дума у меня есть, старый, пугнуть хорошенько шаха Аббаса, чтоб почуял нашу крепкую руку, да и просить опосля у него земли по Тереку альбо еще где ни то пригодные для вольного казацкого поселения! Чтоб не жить нам под тяжким боярским сапогом! А ежели не даст земли Аббас, так пошлет супротив нас крепкое войско. С моими двумя тысячами не осилить кизылбашскую рать, истает ватага побитыми да ранеными.

– Сотворим, как ты надумал, Степан Тимофеевич, – заверил тогда Григорий атамана Разина. – Ты иди к Дербеню, а я казаков под твою руку собирать стану...

Но едва успел атаман Разин выйти из Яицкого городка, как нагрянули стрельцы из Астрахани, захватили крепость, стрелецкий голова Сакмашов начал крепкий сыск и расправу над теми, кто был заодно с мятежными донскими казаками.

Прибытие Максима Бешеного, его арест и угрозы выдачи в руки воеводы Прозоровского всколыхнули среди яицких годовальников притаенную злобу против воеводского утеснения, тут и вышел из тайного укрытия Григорий Рудаков, пустил по городу своих верных шептунов. Поднялись казаки, а к ним пристали без малого все стрельцы...

Тряхнув головой, морщась от боли в ноге, по которой из-под повязки сочилась-таки кровь, стекая в сапог, Григорий Рудаков снова возвысил голос:

– Коль выбрали в походные атаманы, так вот вам мое повеление: стрелецкого голову Богдана Сакмашова за его неласковое к казакам и стрельцам отношение, в отместку за сгинувших по его злому сыску наших братьев, за слезы женок и детишек посадить в воду! Стрелецких командиров, кои не испачканы казацкой кровью, раздуваив по вдовам их пожитки, спустить с крепким наказом, чтоб впредь носили в своей груди человеколюбивое сердце! Всем вам взять в дорогу возможно большой харч и – в челны! С первыми лучами солнца уходим по Яику в море! Тамо и будем искать Степана Тимофеевича!

– Сыщем! Слава о нем теперь, должно, гудит по всему берегу окрест моря! – поддержал Григория Рудакова Ивашка Константинов. – То-то будет рад Степан Тимофеевич такой изрядной ратной подмоге!

– К атаману Леско пошлем кого-нибудь из казаков, чтоб спешно шел за нами следом! – добавил Максим Бешеный.

– Решено кругом войсковым! – подытожил высказанное походный атаман. – Марш по домам собираться и выходи на берег к челнам!

Казаки и стрельцы, с походным запасом харчей и воинского снаряжения, взяв и ратный запас, бывший при Сакмашове, через час были уже в челнах и, провожаемые бабьими слезами и мальчишеским криком, дружно отчалили от берега, подняли паруса и с легким попутным ветерком пошли вниз по реке, оставив на стремнине «мерять глубину» ненавистного стрелецкого голову Богдана Сакмашова...

– Туманище-то какой, зги не видать! – с беспокойством посетовал Григорий Рудаков, сидя на носу головного челна и стараясь хоть что-то разглядеть впереди. – Вот так сунет кто-нибудь кулачищем меж глаз, и не увидишь, от кого гостинца дождался!

– Надобно выслать вперед дозорцев, а то не на кулак наткнемся, а на пищальный залп со стругов Бориски Болтина, – присоветовал Ивашка Константинов, прислушиваясь к звукам с реки – не хлещут ли по Яику весла, выгребая встречу течению.

– Разумно советует Ивашка! – подхватил Максим Бешеный. – Мы знаем, что Болтин плывет к Яику; а он о нас несведущ! Нам и ухватить ратное дело в свои руки, коль стычка неминуема получится! А дозорцы дадут знак, коль струги стрелецкие уже всунутся в реку.

– Ваша правда, други, – согласился походный атаман. – Бери, Иван, второй челн и гоните его перед нами что есть силы до самого устья. Да потом оглядите море в сторону Астрахани, не близятся ли воеводские струги. Храни Бог, ежели успеют устье Яика загородить, тогда...

Что будет тогда, Максим и Ивашка сами знали. Один останется выход – уходить в верховья Яика, к атаману Леско, там и ожидать возвращения Разина. Своими силами яицким казакам мимо Астрахани по Волге тоже не пробиться, еще и струги ведь надо было как-то там доставать.

Ивашка Константинов подозвал второй челн, пересел в него и с шестью казаками поспешил на веслах и под парусом вниз по течению, быстро отрываясь от отряда. Прошли версты три, и вдруг Ивашка двинул шапку на затылок, обнажив коричневую от загара залысину, дал знак гребцам затаиться и не плескать веслами: что-то громоздкое и темное виднелось на пути, приткнувшись к правому крутому берегу.

– Паузок купеческий, – прошептал один из казаков, повернувшись на скамье лицом вперед. – Спит купчина ночью, по реке не хочет идти.

– Не-ет, не купеческий, – отшепнулся Ивашка Константинов. – Гляди, кажись, стрелец в карауле на носу паузка, с бердышом.

– Неужто Бориска Болтин успел-таки войти в Яик? – с замешательством проговорил тихо казак, лицо его выразило крайнее напряжение. – Поворотим к своим?

Ивашка Константинов помотал лохматой, с седыми висками головой, решил тихо сплыть по течению еще чуть ниже. Если паузок один, то казаки возьмут его без большого труда. А если за ним у берега в тумане укрыты струги – быть беде...

Челн, придерживаясь левого берега, безмолвным ужом скользнул вниз. Прошли, едва подгребая веслами и со спущенным парусом, еще с версту – спокойно на Яике, стрелецких строгув поблизости не видно.

– Поворачивай живо, ребятки! – повелел Ивашка. – Упредим походного атамана о виденном!

И успели вовремя. Головной челн с походным атаманом vyplыл из тумана как раз тогда, когда, едва миновав спящий паузок, снизу на всех веслах прилетел легкий челн с Ивашкой Константиновым.

– Внизу никого? – спросил Григорий Рудаков, и, узнав, что близко стрельцов нет, вложил пальцы в рот, и пронзительно засвистел. От посвиста этого, казалось, колыхнулся туман над Яиком. Стрельцы, спавшие на палубе паузка, огорошенные разбойным свистом, бросили пищали и налегке посигали с борта на мокрую песчаную отмель: вот и верь после этого командирам! Сказывали, что все казаки-разбойники давно гуляют в кизылбашских землях, а они сызнова шастают по Яику! Пусть сам черт тут с ними воюет, а не они!

Как мухи на медовые соты, казацкие челны налетели на низкобортный паузок. На палубе вспыхнула непродолжительная свалка, и Максим Бешеный, заметив, что у входа в каюту лихо бьется стрелецкий командир в малиновых штанах и в одной нательной рубахе, отстранил казаков рукой и сам выступил вперед.

– Ну-ка, робятки, дайте мне его на зуб попробовать, съедаем ли сей командир стрелецкий, не зря ли жалованье казенное проедает? – И с саблей наготове шагнул встречь командиру. – Кто таков? Почто бой учинил с казаками, ежели стрельцы твои почти все побежали прочь?

– А ты, казацкий атаман, какого роду-племени? – бесстрашно ответил вопросом на вопрос стрелецкий командир, яростно потрясая обнаженной саблей. – И есть ли в твоей душе хоть малая доля понятия о чести, присяге и долге перед Отечеством? Молчишь? Должно, душа твоя пуста от таких святых понятий?

– Я есаул Яицкого войска Максим Бешеный. Слыхал о таковом? Прозвище не мимо сказано. Клади саблю, и жив будешь. Гляди, твои стрельцы кто побран в полон, а кто утек в кусты. Жаль будет такую красивую голову сечь саблей... Бабы тебя, должно, крепко любят, а?

– Не о бабах нам толковать, есаул! А до моей головы еще добраться надобно, свою подставляя. И стрельцы поступили по совести своей, а я сотник государев Данила Тарлыков, не честь ратнику перед разбойником пасовать. Бьемся, есаул! – И сотник Тарлыков первым сделал взмах.

Скрестились сабли, лихой звон, словно от соборных колоколов над городом, прошел над притихшей палубой паузка. Казаки и стрельцы походного атамана Рудакова стояли поодаль, соблюдая святой закон поединщиков, – кто кого и на чьей стороне Бог!

– Вот так! Вот так мы секем! – выкрикивал Данила Тарлыков и чертом вертелся перед Максимом, норовя неожиданным ударом хотя бы концом сабли задеть есаула. А тот спокойно стоял, словно дуб в безветрии на горбушке степного холма; стоял на одном месте, лишь переступал, поворачиваясь лицом к сотнику. Он вращал рукой туда-сюда, и всякий раз сабля сотника встречала четко поставленную саблю есаула – ни мимо свистнуть, к телу, ни рикошетом скользнуть к голове супротивника...

– Уморился аль еще попрыгаешь малость? – будто о каком пустяшном деле спросил Максим Бешеный, глядя с дикой усмешкой на раскрасневшегося и взмокшего от напряжения сотника.

– Максим, секи его, к лешему! – крикнул кто-то за спиной есаула. – Он двоих казаков поранил, чертяка!

– На то и бой! – хохотнул Максим Бешеный беззлобно. И вдруг дико ухнул филином. От неожиданности сотник Тарлыков вскрикнул – только один раз сделал выпад саблей казацкий есаул, и сотник оказался безоружным – его клинок со свистом пролетел над палубой и вонзился в откос берега, словно нарочно брошенный умелой рукой.

– Теперь уразумел, Данила, отчего у меня такое прозвище – Бешеный? – не меняя простецкого выражения лица, спросил Максим.

Сотник, постепенно бледнея, проходил азарт поединка, где надежда на успех была у каждого половина на половину, а теперь в спину и в затылок дохнуло могильным холодом, сился улыбнуться, развел руками, сказал с полупоклоном:

– Да-а, силен ты, есаул... – выдохнул сотник и, собрав остатки воли в комок, гордо вскинул красивую голову. – Руби насмерть, твоя взяла! Я бился с тобой нешутейно, и коль пофартило бы – срубил бы!

– Знаю, сотник, – ответил Максим Бешеный. Продолговатые черные глаза есаула отражали недолгое раздумье, он отступил от Данилы Тарлыкова на шаг, словно бы для более удобного размаха...

Григорий Рудаков, зная Максима, с улыбкой сказал из-за спины есаула, обращаясь к сотнику:

– Ступай своей дорогой, Данила. Максим, коль хотел бы тебя посечь, давно то сделал бы! И запомни: на нас бояре да воеводы повесили клеймо воров да разбойников, а сами во сто крат хуже над черным людом разбойничают! Мы же за свою волю сабли вынули. И не против стрельцов, мужиков да посадских, а против тех, кто казацкую, стрелецкую да мужицкую шею жадными руками давит покрепче занозистой лещедки⁶⁵. – И обернулся, поискал кого-то глазами. – Слышь, Петушок, подай из каюты сотников кафтан да шапку...

– Спускаете... живу? – словно бы возвращаясь из небытия, спросил Данила Тарлыков, провел туго стиснутыми пальцами по своему лицу и перевел взгляд красивых голубых глаз с походного атамана Рудакова на есаула, который спокойно убирал саблю в ножны. – А я думал, изгиляться учнете, на рею потянете... Ну, коль так... – Сотник, все еще словно бы в полусне, сунул руку под рубаху и... вынул пистоль. Казаки замерли, когда в наступившей вдруг тишине сухо щелкнул курок: пулю ни кулаком, ни саблей издали не упредить!

У Максима Бешеного невольно сошла кровь с полных щек, глаза сузились, словно у рыси перед смертельным броском.

– Для атамана берег, думал... коль измываться стали бы, то и пальнул бы в голову. Заряжен исправно, вот, зрите. – И он, вскинув руку, нажал курок. Бабахнуло, звук выстрела, отразившись от крутого берега, ушел в левую равнинную степь.

Казаки с нескрываемым облегчением выдохнули, кто-то тихо присвистнул, а Ивашка Константинов, приняв от Петушка кафтан и шапку сотника, подошел, протянул их Даниле Тарлыкову. Сотник, одевшись, неторопливо сунул пистоль за пояс, поклонился есаулу, как равный равному, сказал тихо:

– Ты спустил меня, Максим, и я тебе твою жизнь оставил... Прости, что клепал на вас, обвиняя в воровстве и в бесчестии... То от злобы. А за дела ваши – Бог вам судья, а не грешные люди. – И Тарлыков, сделав еще один, общий поклон, ловко спрыгнул с паузка, выдернул саблю из глинистого откоса и через десяток шагов, выбравшись наверх, пропал в тумане.

⁶⁵ Лещедка – расколота на конце, расщепленная палка для сжимания, ущемления чего-нибудь.

– Да-а, – выдохнул с облегчением походный атаман Рудаков, потерял себя за длиннющие усы. – Вот тебе и сотник... Мог бы тебя, Максим, порешить, как куренка.

– Ан не порешил, потому как и самого в куски бы изрубили. А все же молодец Данила, право слово, молодец! Такого нелишне бы и рядом в походе иметь!

Григорий Рудаков еще раз глянул вправо, куда ушел сотник, и вернулся к своим заботам.

– Ну, казаки, велика ли добыча на паузе? Что сыскалось?

Казаки, успевшие осмотреть трюм, пояснили, что сотник Тарлыков вез в Яицкий городок изрядные припасы – не менее шести сот четей⁶⁶ муки, пудов пятнадцать порошу пушечного, пудов десять свинца да две пушки, одну медную, другую железную. Пушки стояли на носу пауза, должно быть, для обороны от возможного приступа казаков.

– Вот и славно! – порадовался Григорий Рудаков. – Сии воинские припасы будут весьма кстати Степану Тимофеевичу на Хвалынском море... Ну, ребята, гоните прочь тарлыковских стрельцов, кто не хочет идти с нами к атаману Разину. А кто останется, тем место у нашего котла.

Шестеро, освобожденные от веревок, поклонились казакам и спрыгнули на берег, поспешили в туман за Данилой Тарлыковым, а с десятков стрельцов остались на паузе. Они-то и известили еще раз походного атамана, что к устью Яика вот-вот приблизится флотилия стругов стрелецкого головы Бориса Болтина.

– На весла! Живо уходим из Яика! – распорядился Григорий Рудаков, выказывая свое волнение. Паузок, развернувшись, пошел вместе с челнами вниз по течению, а навстречу все явственнее чувствовалось дыхание моря. Через час примерно свежий ветер и крупные волны указали на то, что устье Яика осталось позади, а впереди распахнулось безбрежное море.

– Ворочай влево! – скомандовал Григорий Рудаков кормчему на паузе. – На Кулалах укроемся. Тамо и струги себе построим, потому как на паузе да на челнах по морю, особенно в шторм, долго не поплаваешь!

Казаки, привычные к морским волнам, живо поставили паруса, стрельцы взялись за весла, и скоро новый отряд вольницы, счастливо избежав встречи со стрельцами Бориса Болтина, пропал из поля зрения возможных у берегов доглядчиков...

А стрелецкий голова Борис Болтин, явившись в Яицкий городок 12 августа, на другой же день по уходу казаков и стрельцов, нашел город тихим, с заклепанными пушками. Жители, страшась нового и жестокого сыска, закрылись в домах и не отваживались выходить на улицу и к обедне в церкви...

Обескураженный случившимся, стрелецкий голова отправил нарочных в Астрахань к воеводе Ивану Семеновичу Прозоровскому с вестями, которые удалось ему собрать в притихшем Яицком городке.

⁶⁶ Четъ – мера сыпучих тел, четвертая часть ведра.

2

Стрелецкий пятидесятник Аникей Хомуцкий, шваркнув по двери кулаком – иначе ее скоро не открыть, – пригнул голову и ступил в тесную каморку с подслеповатым окном – не на улицу с шумной толпой прохожих, а на задворки с кустами вишни и с курами, разлегшимися под этими кустами.

У окна на низком стульце, согнувшись над гулкой наковальней, сидел крупный, сутулый, едва ли за тридцать лет, человек в домотканой рубахе без опояски. Густые русые волосы, чтобы не падали на глаза и не мешали работать, прижаты широкой черной тесьмой.

На крепкий стук в дверь хозяин каморки повернул крупную голову, голубые и глубоко посаженные глаза настороженно глянули на гостя как бы с укором: «Ну вот, опять, должно, тебя нечистая сила приволокла по мою душу! Нет покоя от царевой службы ни днем ни ночью! Ни зимой ни летом!» К короткой волнистой бороде с губы сбегали длинные усы, рядом с которыми залегли две глубокие складки, придавая лицу неизъяснимо скорбное выражение, даже когда хозяин улыбался гостю.

– Бог ли тебя принес, Аника?

– Кабы Бог, Митяй, а то стрелецкий голова наш Леонтий Плохово. Пришло воеводское повеление сызнова стрельцов собирать на струги и идти в море.

Митька, Семенов сын, а в Астрахани средь многочисленных его заказчиков к нему накрепко приклеилась кличка Митька Самара, досадливо звякнул по наковальне звонким молоточком, проворчал в усы:

– Ведь днями только еле слезли с тех стругов, а теперь опять за треклятые весла садись, ломай спину! Неужто вдругорядь кому-то с великой пьяни пушечная пальба причудилась?

Митька Самара злобился не зря – совсем недавно сполошно их вот так же согнали на струги, и Леонтий Плохово повел стрелецкий отряд на учуг Увары – стрельцы, бывшие в охране на том учуге – Федька Васильев с товарищами, прислали к астраханскому воеводе срочного вестника, что 17 июля, за час до вечера, они весьма отчетливо слышали стрельбу на море, от песчаных кос верстах в десяти, не более. Стрельба якобы велась из мушкетов да из пушек. Федька полагал, что это дают сигнал воровские казаки Разина, возвращающиеся из разбойного набега на персидские земли, а потому и упреждал воеводу Прозоровского.

По тому известию в Увары без мешкотни вышел стрелецкий голова Леонтий Плохово на двадцати стругах, а на каждом струге по двадцать стрельцов, всё саратовские да самарские. Прибыв на Увары, голова разослал струги в разные стороны, но никаких следов пребывания казаков не обнаружилось, о чем Плохово, возвратясь в Астрахань, и известил воеводу...

И вот, едва передохнув несколько дней от той нелегкой гоньбы по морю, стрельцы вновь должны были сесть за весла и плыть неведомо куда и неведомо за кем в угон!

– Да нет, Митяй, – пояснил Аникей Хомуцкий, отыскивая взглядом место, куда бы присесть. Митька Самара встал со стула, ногой подвинул его пятидесятнику. – На сей раз, сказывал наш сотник Хомутов, дело весьма серьезное, в нижнем Яицком городке взбунтовались казацкие годовальники, а с ними заодно своровали и астраханские стрельцы, тамо бывшие с Богданом Сакмашовым.

– Вот тебе и на-а, – выговорил в недоумении Митька Самара, перебирая на столе инструмент. – Чего ж им так вздумалось?

– Сказывают вестники, будто к атаману Стеньке Разину вознамерились пристать... Супротив них и снаряжается полковой воевода и князь Семен Иванович Львов. Ныне к вечеру быть общей перекличке, да и в море тронемся спешно.

– Ах ты, нечистый! – ругнулся Митька, а кого поминал таковым, понять было трудно – то ли яицких годовальников, то ли атамана Разина, а может, и воеводу. – Куда ж все это деть? –

и он обвел взглядом каморку. На полках стояли исполненные уже заказы: конская сбруя из медной чеканки, стопка красиво украшенных медных блюд, две объемистые ендовы⁶⁷ с рыльцами для отлива в виде раскрытого утиного клюва. На крючках в стене слева от окошка висели два деревянных щита, обшитых сверху листами меди, а по меди Митька нанес искусно сделанную кружевную роспись: от Бога был дан ему этот дар – чеканить узоры по меди да по серебру. Случалось прежде и по золоту делать замысловатые рисунки, но теперь в Астрахани богатые купцы да бояре опасаются выказывать золотое узорочье перед стрелецкими чеканщиками, чтоб потом над ними не учинили разбойного промысла с душегубством.

Митька поднял с наковальни почти готовую ендову-гусыню – с плавно изогнутой шеей, а вместо глаз вставлены кровавым цветом сверкающие рубины, – сказал свояку:

– Вот, воевода Хилков через своего дьяка заказывал да съехал из Астрахани, не дождался конца работы...

– Дивная ендова, Митяй! – Оцениваяще оглядев ендову, пятидесятник цокнул языком. – Таких и на Москве не много в продаже средь тамошних чеканщиков!

– Приберусь я тут... Кто знает, когда воротимся с похода! Да и все ли воротятся? Ежели со мной что случится, забереешь все это и Ксюше передашь.

Аникей молча мотнул головой, насупил густые брови, филином, не мигая, уставился в темный угол, где в небольшом ящике ручками вверх торчали молотки, молоточки, клещи и еще какой-то инструмент. Митька привычно разобрал утварь каморки, сложил в сундучок и запер инструмент: возил его за собой как и смену белья. Такова стрелецкая жизнь – коль война, бери пищаль, цепляй саблю на себя, клади на плечо тяжелый бердыш и шагай со своим сотником за начальством, не спрашивая, кого отбивать или усмирять придется. А если кончился поход для тебя счастливо и ты уцелел, принимайся за избранный промысел – паши землю, лови рыбу, руби по заказу дома или клади каменные соборы альбо городовые стены и башни, паси в степи скот. А если сноровист – рукодельничай: шей сапоги, кафтаны, обжигай горшки или, как Митька Самара, радуй свой и чужой глаз и сердце узорчатой чеканкой... На государево жалованье, а оно весьма часто к тому же поступает с большой задержкой, себя не просто прокормить, а ежели обзавелся женкой, и рядом, словно грибы-опята вокруг пня, проросли детишки, тогда и вовсе стрелецкая жизнь – не один только мед сладкий да хмельной...

У Аникея женка есть, вот уже десятый годок, да детишек Бог не дал пока что. У Митьки уже два выюна, семи и десяти лет, бесенятами носятся в доме, переворачивая все с ног на голову, – баловал родитель своих сынков, потому как любил этих голубоглазых пронирыливых пострелят и не хотел, чтобы росли они сызмальства в узде и постоянном страхе, не смея шагу ступить без чужого позволения. Из таких-то и вырастают не забияки с отважными сердцами, а енохи-запечники⁶⁸, которых всякий, кому не лень, по шее мимоходом бьет. Жена Ксюша иной раз норовила уgomонить ребятишек скрученным полотенцем, и тогда Митька, смеючись, командовал озорникам: «Брысь под печку!» – и те послушно исчезали с материнских глаз. Правда, ненадолго, а потом, из-за угла позыркав плутоватыми глазенками, вновь заполняли горницу шумом и хохотом. Родитель Митьки, отставной стрелецкий пятидесятник Семен, едва детишки начинали баловать сверх всякой терпимости, хватал их под мышки и так, брыкающих ногами, тащил едва не до самой Волги. Вместе с ними живо разоблачался и ухал с головой в воду, будь это в июльский зной или уже в прохладные дни с последней песней скворца⁶⁹. Ребятишки с визгом бултыхались, носились по сырому песку до тех пор, пока солнце не ложилось щекой на западный оком, где-то далеко-далеко за краем России. Тогда дед Семен брал внучат за руки и, присмиривших, уставших, вел домой ужинать и спать...

⁶⁷ Ендова – медная посуда с рыльцем для отлива.

⁶⁸ Енох – смирный парень, простак.

⁶⁹ Середина сентября по ст. стилю.

Аникей, женатый на родной сестре Ксюши Дуняше, без малого всякий воскресный день вместе с супружницей навещал свояка Митьку, баловал племянников недорогими гостинцами. Дуняша с тоской в глазах обнимала ласковых к тетушке озорников, совала им в проворные руки по прянику, а потом все вместе шли к воскресной службе... Теперь семьи остались в Самаре, а здесь, в чужом городе, только рабочий инструмент у Митьки. Аникей изнывал от черной тоски – по нынешней весне по челобитью воеводе взял он откуп самарских Соковых и Кинельских юрт⁷⁰ для рыбной ловли на три года «без перекупу»⁷¹, уплатив сорок два рубля двадцать семь алтын⁷² и полупяти деньги⁷³ в год. Как-то теперь там Дуняша досматривает за нанятыми работными людьми? Не сгубили бы летнего лова, а то и откупных денег не возвраща-тишь, не только себе какой-то достаток получить.

Митька наконец-то прибрался в каморке, пошли в дом – а они с Аникеем снимали пристрой у астраханского стрелецкого десятника Оброськи Кондака, – облачились в стрелецкие кафтаны, взяли воинское снаряжение. Во дворе, слышно было через открытую дверь пристроя, выла с детишками Оброськина женка – сам хозяин дома собирался под руку полкового вое-воды князя Львова.

На подворье вышли одновременно.

– Идем, что ли, соседи? – угрюмо буркнул Оброська, косясь на свой кафтан – не видно ли мокрых пятнышек от женских слез? – и зашагал впереди, враскачку, высокий, плечистый, с пищалью за спиной и с тяжелым отточенным бердышом, положив его ратовицей на правое плечо. Шли с посада в кремль через Воскресенские ворота, к площади у собора, миновав кабак с закрытыми по случаю стрелецкого сбора дверями и стражей около них.

На ратное дело их благословил седобородый и весь белый, как болотный лунь, митропо-лит Иосиф, и после молебна и переклички, через Горянские ворота выступили сотнями к волж-скому берегу, разместились по стругам. Митька Самара со своим десятком стрельцов плыл на головном. Изредка откидываясь назад и вытягивая весло в гребке на пару с дюжим Еремкой Потаповым, он видел на кичке статную коренастую фигуру полкового воеводы князя Львова. Рядом с ним едва ли не на голову возвышался, кизылбашскому минарету подобно, тонкий и юркий стрелецкий голова Леонтий Плохово. Чуть в сторонке у борта о чем-то переговари-вались сотник Михаил Хомутов и пятидесятник Аникей Хомуцкий. На соседнем струге со своей полусотней плыл второй пятидесятник Алексей Торшилов, а дальше два струга сотника Михаила Пастухова, тоже из Самары. Были под рукой у князя Львова стрельцы из Саратова, из Царицына, но больше всего из астраханских да московских стрелецких приказов.

В правый борт ударились мелкие, ветром нагнанные волны, в крике надрывались чайки, кружа возле стругов, – должно быть, правы старые, рыбного промысла мастера, когда говорят, будто души рыбаков, погибших в морской пучине, вселяются в этих беспокойных птиц, оттого они и мечутся постоянно около людей, своих родичей и дружков окликаая...

С выходом стругов в море стрельцы поставили паруса и на палубе кто где, кроме тех, кто дежурил у паруса на становях и на отпусках. Иные постарались уснуть, чтобы не думать о предстоящем сражении, другие коротали время за разговором.

– Слышь, Митяй, – стрелец Гришка Суханов легонько толкнул десятника Митьку Самару в бок. – Взаправду ли на астраханских стрельцов в бой идем, а? – Его светло-желтые глаза задумчиво следили за кувырканием чаек в морской волне; рыжеватые, цвета соломы усы и борода почти не видны при ярком солнце.

⁷⁰ Юрт – часть земли или реки с угодьями.

⁷¹ То есть на четыре года.

⁷² Алтын – 6 денег, или 3 копейки. Счет на алтыны ведется давно, но как самостоятельная серебряная монета началась чеканиться только при Петре I в 1704 году.

⁷³ Полупяти деньги – 4,5 деньги.

– Наш сотник Мишка Хомутов так сказывал, – ответил Митька Самара, стараясь сесть так, чтобы жесткие доски невысокого фальшборта не давили больно на лопатки сутулой спины.

– Грех-то какой, братцы! Ну, иное дело казаки с кизылбашами сцепились, те тако же не единожды на наши окраины набеги чинят и в полон русских уводят. А здесь стрелец в стрельца из пищали палить будет!

– Так своровали ж астраханцы супротив великого государя! – уточнил Митька Самара, хотя и сам в душе был согласен с молчаливым отроду Гришкой Сухановым. А тут и молчуна, знать, думами допекло до печенок. – И своего командира стрелецкого голову Сакмашова в воду, слышь, братцы, посадили!

– Хороших в воду не сажают, – буркнул из-за Суханова Еремка Потапов. – Знать, от Бога ему там уготовлено место сидеть под водой в мешке с камнями тяжелыми... Охо-хо, братцы! Когда ж люди возлюбят друг друга, а не будут меж собой грызться, как звери дикие и вечно голодные, а?

Митька Самара хмыкнул, покосился на полкового воеводу, который, усевшись в легкое плетеное кресло, о чем-то выслушивал полусогнутого над ним Леонтия Плохово.

– Возвратимся ежели, так ты с тем спросом и подступись к астраханскому воеводе Прозоровскому, – пошутил Митька, обращаясь к Еремке. – Авось с дыбы сам скажешь, когда полюбятся тебе бояре да воеводы краше родной матушки...

– Да-а, – протянул Еремка Потапов. – Что-то раздумал... Лучше с тараканами на печке препираться, а не с воеводой.

– Не-ет, братцы, грех великий – стрельцу в стрельца из пищали стрелять! – то ли спрашивал еще раз, то ли продолжал настаивать на своем Гришка Суханов. Помолчав малость, сам себе, должно, сказал негромко: – Хотя и то верно про иных наших командиров сказать, что за собакой не пропадет палка, в нужный час сыщется под руку...

– Разумно сказано, – с улыбкой поддакнул Митька Самара, хотя по долгу службы обязан был пресекать такие разговоры среди стрельцов. – Слыхали же от астраханцев, что случилось с черноморским воеводой Семеном Беклемишевым? Встал воевода со своими стрельцами супротив атамана Степана Разина, норовя ему дорогу к морю затворить. Так черноморские стрельцы едва не все перебежали к казачьему атаману, а Беклемишева Стенька прибил да еще и плетью высек, как тот сам сек у себя на конюшне строптивых альбо в чем провинившихся стрельцов.

Митька, покосившись опасливо на командиров, по секрету сказал друзьям:

– Наш квартирный хозяин Оброська Кондак, прослышав о побитии стрелецкого головы Сакмашова, так молвил: «Командир был хорош: давал за него черт грош, а разглядев, в ад со страху упятился!» Вот так-то, братцы самаряне, ныне Суд Божий вершится в нашей земле со всех сторон! Бояре казнят вольный да черный люд, а черный люд казнит бояр да воевод на скорую руку и без поа и соборования!

– Тсс, – негромко предупредил своего десятника пожилой стрелец Ивашка Беляй и палец прижал к толстым губам с пушистыми усами. – Полковой воевода объявился...

Митька Самара умолк, покосился на кичку струга – князь Львов и стрелецкий голова Плохово подались в свои каюты на корме, а на носу струга в морскую даль две пушки вытянули ненасытные гортани. Около них лежали и сидели пушкарки, в плетеных корзинах ядра и зарядные картузы с порохом, укрытые плотным рядом от солнца и соленых брызг. И на иных стругах пушки изготовлены к стрельбе по возможным встречным казачьим челнам.

– Боятся нечаянной встречи с разинцами, – пояснил пятидесятник Аникей Хомуцкий, присаживаясь рядом с Митькой. – Кто знает, где теперь носится тот бесшабашный атаман... Может, призван яйцкими казаками на выручку да и вперед нас у Яика окажется... У Разина более двух тысяч казаков и стрельцов, не выдюжить нам того боя...

– Да-а, – нараспев проговорил Митька Самара. – Тогда не унести своих ног! Ежели казаки всем скопом навалятся на нас, будет и у князя Львова та же ратная судьба, что и у Беклемишева...

Кашевары, не имея возможности развести огонь на стругах, приготовили ужин-сухоятку, ударили черпаком в пустой чугунок, созывая десятников получить харчи на своих стрельцов.

Митька Самара взял с собой двух братьев-близнецов Афоньку да Алешку Углицких, получил продукты – оказалась там и холодная пшенная каша, вздобренная постным маслом. Ели молча, вслушиваясь в мерный плеск воды о борт струга. Изредка, малость ослабнув, на порывистом ветру хлопал, вновь надуваясь, парус.

– Где же наш полковой воевода казаков да своровавших стрельцов думает промыслить? – повернулся к Аникею Хомуцкому Гришка Суханов. – Неужто в каменной крепости городка? Оттуда их пищалью не выбить, довелось мне видеть тамошний каменный кремль, будто с Астраханского кремля слеппен. Да и наши пушки маловаты стены порушить ядрами. Надо осадные тащить к Яицкому городку...

Пятидесятник, проглотив ложку каши, покосился на дотошного расспросчика, отбуркнулся:

– По мне, так и вовсе нечего их искать! Пушай идут хоть к Стеньке, хоть еще куда подальше... Своих заботушек не изжить счастливо, а тут еще всякое валится!

Из воеводской каюты вышел личный кашевар князя, ложкой выгреб за борт остатки недоеденной каши.

– Осетров прикармливает воевода, – пошутил острослов Митька Самара, сам выгребая кашу из миски до последнего зернышка, начал есть, откуда и аппетит появился! Сказалась-таки работа на тяжелых веслах.

– А вот как побьем своровавших стрельцов, так и воротимся сюда для рыбного промысла, – без улыбки откликнулся старый Беляй. И вздохнул стрелец – дома, в Самаре, остались женка Маняша, четыре дочурки да сноха Акулина. А сын Томилка, молодой стрелец, сложил уже головушку под Царицыном в нечаянной сшибке с ногайскими набеглыми шайками. И что с ними будет, если и он, последний кормилец в семье, сгинет где-нибудь в яицких камышах?

Аникей Хомуцкий, похоже, думал об этом же, потому как негромко проворчал, уставя глаза неподвижно поверх фальшборта на пологие длинные волны сине-зеленого цвета и с белыми чайками на них:

– Дай-то Бог воротиться... Не сгинуть в треклятом море, как сгнули четверо стрельцов с другом нашим Никиткой Кузнецовым! Будто сглотнула их Хвалынь, даже шапок к берегу не вынесло... А может, это они в образе белых птиц около нас летают, а? – и такая нечеловеческая тоска слышалась в голосе Аникея, что Митька Самара даже испугался за своего свояка – не к добру подобное настроение перед тяжким боем с казаками!

– Да-а, нету наших товарищей, канули... – вспомнив Никиту Кузнецова, со скорбью сказал, не удержавшись от печали, и сам Митька Самара, который раз помянув пропавших в море друзей. – И мы не на крестины собрались... И не избыть нам никак тяжкой царевой службы, разве только голову сложить...

– Вот было бы славно, кабы своровавшие стрельцы да годовальщики успели сойти в море к Стеньке Разину, а? – вслух подумал о заветном Гришка Суханов, заглядывая в пустой котел. – Все выскребли? Надо же, не наелся... Мы бы к Яицкому городку присунулись, а их уже и след простыл! Нам и делать нечего, как отдай поклон да и ступай вон! Господь, услышь молитву раба твоего...

– Тогда надобно послать тебя нарочным к разинцам, упредить, чтоб быстренько портянки на ноги наматывали, – невесело пошутил Аникей Хомуцкий. И добавил от себя, не опасаясь,

что кто-то из стрельцов может донести на него грозному воеводе, тогда не миновать пытки на дыбе: – Коль уйдут казаки да стрельцы в море, не нам тужить! Целее будут наши головы...

Старый Беляй громко вздохнул, полупшепотом сказал:

– Мой Томилка тако же сгинул, когда его нарочным в Царицын сотник послал упредить о набеглых ногойцах... Стрелой в шею из ерика достали. – И опустил полуседую голову на грудь, запечалился о неизживном стариновском горе.

– Ну, братки, а теперь спать, будет нам гутарить о делах завтрашних! Спать, спать, солнце и то тучей укрылось...

Когда флотилия князя Львова достигла устья Яика, там ее уже ждали два струга от стрелецкого головы Бориса Болтина с известием, что по проведенному им розыску своровавшие стрельцы и казаки укрылись на острове Кулалы в северо-восточной части Хвалынского моря.

Струги с воинством князя Львова без задержки взяли курс на остров.

* * *

На небольшом узком островке, насквозь продуваемом ветрами, с чахлыми зарослями и с полусоленой водой в маленьком озерце, которую можно было пить лишь при крайней нужде, работа кипела день и ночь. Григорий Рудаков, человек бывалый и прозорливый, знал, что астраханский воевода Прозоровский и дня не будет мешкать, получив вести из Яицкого городка, тут же снарядит против них стрельцов, а потому, укывшись на Кулалах, повелел спешно разбирать неустойчивый на морской волне паузок и строить из тех досок струги. Топоры стучали беспрестанно, жгли костры, если луна скрывалась за тучи. А чтобы огонь костров не просматривался издали, место работы было огорожено высоким и частым плетнем...

– Максим, подь в шалаш ко мне, – через неделю по прибытии на остров как-то к вечеру позвал Григорий Рудаков своего помощника. – Сказать чего хочу тебе...

Максим только что ходил осматривать земляной городок, построенный казаками на наиболее возвышенном месте острова. Пригнувшись, чтобы не ткнуться головой о слегу, он пролез в шалаш, присел на охапку сухого камыша, который служил походному атаману постелью, поправил саблю, чтобы не торчала сбоку.

– Что удумал, Григорий? – спросил он негромко.

Старый казак внимательно посмотрел на есаула – вона как осунулось еще недавно щекастое лицо Максима! И глаза смотрят тревожно, без былой бесшабашности.

«Оно и понятно – не сам по себе голова, а за сотни людей перед Богом и детьми ответ держать придется», – подумал Григорий Рудаков. Присел рядышком, глядя через выход на земляной городок со стеной из плетеного двойного забора – там казаки еще носили и засыпали землю, заговорил доверительно, о чем уже не одну ночь размышлял:

– Удумал я завтра в ночь на готовых стругах идти в море, к кизылбашским берегам. Надобно искать Степана Тимофеевича и звать его сызнова в Яицкий городок.

– Зачем ему идти в Яицкий городок? – не сразу понял Максим Бешеный. – Теперь там стрельцы засели накрепко. Один раз удалось Яцына обмануть и войти в город, нарядившись богомольцами да плотниками, второй раз так-то и глупую курицу не обманешь!

– А куда же ему податься? – вскинул седые брови походный атаман и удивился, что товарищ не понимает такой простой истины. – На Дон его воеводы не пропустят! На море зиму в стругах не пробегаешь. Да и шах персидский флот непременно супротив казаков вышлет! А в Яицком городке и вторую зиму пересидеть можно будет. Что до сидящих там стрельцов... Так и у Сакмашова они были, а теперь вот почти все у нас с тобой, вернее, у батьки Разина.

Максим вздохнул, через щербинку в верхнем ряду зубов втянул воздух в широкую грудь, подумал, что старый казак, пожалуй, прав: деваться Степану Тимофеевичу более некуда. На

дворе уже конец августа, недалеко и до лютой зимы. Хлопнул ладонью о колено, одобрил решение походного атамана:

– Коль так, то бери, Григорий, с собой астраханских стрельцов, сколь возможно. И порох да свинец возьми к Степану Тимофеевичу, авось сгодится – где раздобудешь на море. Ты иди, а я с казаками и теми из стрельцов, которые на челнах не уместятся, буду ладить новые струги и покудова останусь сидеть здесь. Дума есть, что весьма скоро придут к нам с верховья казаки атамана Леско. Коль замешкается воевода Прозоровский с присылкой ратных людей, то и мы следом за вами уйдем с острова.

Григорий Рудаков согласился с таким предложением Максима и прикидывал, чего и сколько придется брать.

– Отберу стрельцов покрепче в подмогу атаману. Так кумекаю своей старой головой, что и он теперь в людишках поистратился, добывая кизылбашские города... Где-то там и мои содруги в неволе томятся, – взгрустнул Григорий. – Как ходили мы с атаманом Кондыревым, у Дербеня, меньшей братец мой, Фролка, персами из ружья убит... – и умолк походный атаман, заняла непроходящая старая рана.

Весь следующий день прошел в спешных сборах, в проверке снастей, в смотре людей и оружия. Сто тридцать стрельцов, взяв с собой запасы на две недели – ну как тут было еще раз не вспомнить стрелецкого сотника Тарлыкова и его богатый паузок! – перебрались на четыре струга, подняли паруса и, размахивая шапками на прощание, пошли прямо на юг, чтобы избежать возможной встречи с флотилией астраханского воеводы, если она бродит где-то поблизости в поисках мятежных казаков и стрельцов.

Проводив на челне уходящих стрельцов, Ивашка Константинов, грузно ступая по песку, мокрому у воды, поднялся на возвышение, где рядом с песчаным откосом начиналась скудная поросль полыни и степной колючки. Здесь, перед двойным плетнем из ивняка, внутри засыпанного землей, хмурясь, о чем-то раздумывая, стоял Максим Бешеный и взглядом следил за уходящими стругами, которые, покачиваясь на волнах, с каждой минутой становились все меньше и меньше, словно медленно погружались в пучину, пока и паруса не «потонули».

– Что загрустил, казак? – спросил Ивашка, у которого порывистый ветер шевелил на висках длинные седые волосы. – Коль думка печальная одолевает, не поддавайся, гони ее прочь, как тот мужик гнал черта...

– Какого черта? – не сразу понял Максим своего друга, вскинув на Ивашку удивленные и печальные глаза.

– Как это какого? Да который у нас в Самаре жил! – Ивашка произнес это таким тоном, как будто самарский нечистый доводился Максиму родным братцем, а он вдруг о нем напрочь забыл. – Встречает как-то протопоп Григорий Игната Говорухина да и вопрошает с укоризною: «Пошто, раб божий Игнат, в церковь не ходишь?» – «И ходил бы, отец протопоп, – отвечает Игнат, мужик бывалый и смелый, – да я за порог, а черт поперек! Покудова пихаемся, так и обедня закончилась, народ от собора пошел...»

Максим согнал с лица грустную задумчивость, засмеялся шутке друга, похлопал Ивашку по плечу, сказал:

– И нам придется, чует мое сердце, попихаться крепко. Только не с чертом упрямым, а с чертовым воеводой!

Оба оглянулись: за спиной с прибаутками молодые казаки и стрельцы сооружали последние метры земляной крепости, из челнов на берег сносили нарезанные на южной оконечности острова малинового цвета связки ивняка, заостренные кольца.

– Не сдюжат пушечного боя плетеные стены, повалятся, – проговорил Максим, пытаясь рукой качнуть вбитый в землю кол. И высказал неисполнимое желание: – Вот кабы сюда Яицкого городка да каменные башни со стенами...

– Те башни, друже, на челнах не перевезешь, – горько усмехнулся Константинов. – Будем за этими сидеть да струги ладить. А ежели воеводу черти нанесут... Маловато у нас людишек осталось, без десятка две сотни всего. Князюшка Прозоровский по великой своей щедрости пришлет куда больше.

– Кабы атаман Леско подоспел со своими казаками... Куда это наш огневой Петушок снарядился? – удивленно дернул бровями Максим: рыжий Петушок с шестью казаками полез в челн и норовит плыть от берега. Ивашка пояснил:

– За пресной водой. Видишь, по два бочонка на каждый челн поставили.

– То дело, – одобрил Максим, огладил пальцами щеки, с которых даже тяжкая забота и усталость не могли согнать румянца. – Воды надобно поболее запасти. Отправь, Иван, с Петушком еще челна три-четыре, пусть порожние бочки возьмут. Те, что на паузке были под мукой. Бережливого Бог бережет, а без питья по песку долго не бегать. Воеводские струги обступят остров тучнее, чем зеленые мухи на падшее стерво⁷⁴. Тогда придется цедить воду из озерца, мимо воеводских стругов на челне не прошмыгнешь за речной водицей.

Берег суши от острова был верстах в двух или трех, песчаный, с густыми зелеными зарослями в устье небольшой речушки. Там постоянно останавливались на водопой или на ночевку либо кочевники, либо купеческие караваны, которые шли из Астрахани через Яицкий городок и реку Эмбу в туркменские земли.

Воротились казаки с водой после полудня, часа через три, и вместе с кадиями пресной воды приволокли к атаманскому шалашу повязанного человека в одежде горожанина. На нем была просторная в плечах однорядка⁷⁵, на голове – изрядно поношенная суконная шапка, на ногах – непривычные для казаков лапти.

– Что за человек? – насторожился Максим Бешеный, зная, что и в этих водных местах степи воевода мог поставить своих доглядчиков. Он подступил к повязанному, пытливо вглядываясь в лицо нежданного гостя: сухощав, но крепок и не робкий. Шея торчит из однорядки жилистая, длинная. Короткая, в суматохе, видно, измятая борода прикрывала шею менее чем наполовину. Виски и щеки заросли темным волосом, усы, нависая над толстыми губами, неприятно переходят в бороду. Карие глаза испытующе смотрят на Максима, но без робости, с легкой усмешкой.

– Пуцай сам скажется, что он за леший альбо водяной, потому как словили мы его в зарослях около воды, – зло ответил на вопрос есаула Петушок, косясь на длинношеего мужика в лаптях. – Когда вязали его, так мне под микитки кулачищем так сунул, едва отдышался и не отдал Господу душу на покаяние... Надо бы ему зубы поцелкать хорошенько.

– Что за повадка воеводская – не познав человека, тут же кулаком у носа размахивать! – неожиданно рыкнул на Петушка мужик. И Максиму Бешеному: – Я к тебе, есаул, от атамана Леско послан. А прозвище мое Мишка Нелосный, из самарских горожан.

– Ого! – удивился теперь Ивашка Константинов. – Так мы с тобой, выходит, однородцы!⁷⁶ – и впился взглядом из-под выгоревших русых бровей. – Из каких же людишек? Не из бурлаков ли часом?

– Нет, не из бурлаков, – спокойно ответил Мишка Нелосный, пока казаки развязывали ему стянутые веревками за спиной руки. – В Самаре я держался поначалу в вольных работниках у тамошнего пушкаря Степана Халевина. А как тот вышел со службы и забросил свои арендные ловли, так и меня согнал со двора. Подался на Яик, был в разных работах, теперь вот с месяц как у атамана Леско в конюхах. С ним и пошел было вниз по Яику, чтоб в море сойти к атаману Разину...

⁷⁴ Стерво – труп околевшего животного, палая скотина.

⁷⁵ Однорядка – долгополый кафтан без воротника, с прямым запахом и с пуговицами, однобортный.

⁷⁶ Однородец – земляк, одноземец.

– Где теперь атаман Леско, рассказывай! – поторопил Максим неспешного на слово Мишку Нелосного.

– Да под Яицким Нижним городком стрельцы нас удержали, – продолжил свой рассказ атаманов конюх, словно и не слышал нетерпеливого есаула. – Два струга из пушек разбили, огненным боем из пищалей крепко палили стрельцы... Отбежали мы вверх до Маринкиного городища⁷⁷ да и засели на Медвежьем острове. Стрельцы не отважились тамо нас брать приступом, отошли на низ.

– Ну а ты как здесь очутился? – спросил снова есаул Бешеный.

Мишка Нелосный глянул с удивлением на Максима, усмехнулся:

– Знамо дело, атаман послал. Прознали мы от доводчиков, что вы ушли на Кулалинский остров, вот атаман Леско и снарядил меня на двух конях. Езжай, говорит, да стереги казаков на берегу – неприметно стереги, опасайся воеводских досмотрщиков в тех местах. А казаки непременно вылезут за водой... Ну вот, примчался я, залег в ивняке передохнуть, а казаки на меня налезли, словно муравьи на пень. Ладно хоть саблей не полоснули по шее, ищи опосля того в тамошнем густом бурьяне свою головушку...

– Что сказать велел атаман? Сам придет ли на остров?

– Сказывал, чтоб вы шли по домам, ежели не съехали еще с острова на стругах к Степану Разину. Были гонцы с Дона, голытьба там собирается большой толпой под атаманом Алешкой Каторжным. Будто теперь у него до двух тысяч человек. Так чтоб и нам к ним прилепиться и общей силой идти к Степану Тимофеевичу.

Максим Бешеный махнул рукой Петушку, и тот с тремя казаками, которые сопровождали Мишку Нелосного, пошли к челнам выкатывать и убирать в городок кади с водой.

– Проходи, казак, гостем будешь, – решил Максим Бешеный. – Вечером соберем круг да и будем совет держать, как нам быть дальше. Прикажу сейчас накормить тебя.

– В казаках ходить еще не доводилось, есаул, все больше в наймитах, – отшутился Мишка Нелосный. – Но от доброго ужина не откажусь, а там и порешим...

О чем собирався порешить гонец атамана Леско, Максим Бешеный узнать так и не смог – с конца острова бухнул сполошный выстрел, и все враз оглянулись: с запада, под розовыми лучами, к острову близились длинной вереницей морские струги. До них было еще далеко, паруса только вышли из-за окоема, но Максим понял: дознался-таки воевода Прозоровский о месте их пребывания, прислал свое войско! И на берег теперь казакам не уйти – не успеют на шести челнах перевезтись, остальные разобраны и частью уже пошли на постройку трех стругов, которые еще без палуб и без мачт...

– Может, вдоль берега мимо скользнут? – высказал надежду Константинов. – Видишь, идут под самым берегом моря...

Струги и в самом деле шли вдоль морской кромки, будто полковой воевода искал мятежников не на островах, а становищем где-нибудь в удобном месте в бухточке или у истоков степной речушки, укрытой ветловыми зарослями. Солнце уже коснулось своим брюшком западного окоема, когда струги зашли в воду между островом и берегом, а потом, вдруг разом поворотившись вправо, длинной шеренгой пошли к острову Кулалы.

– Вот и все! – коротко выдохнул Максим Бешеный, чувствуя, как взволнованное сердце против воли усиленно забухало о ребра. «Пришел крайний час! Страшно...» Максим покопился на Ивашку Константинова – не видит ли друг, что у походного атамана нервно стиснуты кулаки, как будто супротивник уже лезет через плетень и настал миг крушить его между глаз!

Константинов стоял рядом у стены ненадежной крепости, сжимая пищаль, словно высматривал астраханского воеводу, чтобы свалить его первой же пулей.

⁷⁷ Ныне остров Индер.

– Петушок, повороти пушки супротив стругов! – распорядился Максим, чувствуя, что надо взять себя в руки, а то казаки приметят его минутную растерянность и ослабнут сердцем. Казаки тут же исполнили повеление походного атамана, обе пушки были повернуты к проливу, пушкарки вставили зарядные картузы, забили ядра и встали, дымя пальниками, готовые стрелять по команде есаула.

Вне досягаемости пушечного выстрела струги бросили якоря, остановились. Уже в серых сумерках с головного струга воеводы спустили челн, и он на веслах полетел к острову, благо волн почти не было. На носу челна высился какой-то стрелецкий командир и, сложив руки за спиной, поглядывал на остров, на земляную стену, на казацкие и стрелецкие шапки, которые виднелись за этой ненадежной – от пуль эта стена, а не от ядер – защитой.

Едва челн ткнулся носом в берег, стрелецкий сотник прыгнул на песок и смело пошел к казацкой крепости. Ему навстречу через узкий проход-ворота пошел Ивашка Константинов. И чем ближе они сходились, тем большее удивление отражалось на лице Ивашки, русые брови невольно то вскидывались вверх, то сходились к переносью. В двадцати саженях от крепости встретились.

– Стрелецкий сотник Михаил Хомутов, – представился служивый, хотя Константинов и без того узнал уже самарянина.

С улыбкой, хрипловатым голосом он спросил:

– Будь здоров, крестник Миша! Зачем пожаловал в такую даль от Самары?

Михаил Хомутов, по-детски, с открытым ртом – хотел было что-то сказать – замер. В карих глазах искоркой промелькнуло неподдельное удивление. Спокойное, сдержанное лицо осветилось непрошеной сердечной улыбкой. Видно было, что стрелецкий сотник и сам подивился такой нежданной встрече. Да и как было не помнить Константинова, слава о котором, как о кулачном бойце, и по сию пору гремит по самарским кабакам. А единожды Ивашка крепко выручил тогда молодого еще стрельца: темной ночью попался безоружный Хомутов в руки подпивших ночных татей, когда возвращался с посада от Анницы. Ему бы снять с себя все, что было, а он по горячности заупрямился, кулаки в дело пустил. Тати, обозлясь, за ножи ухватились... Тут и подоспел с подвернувшимся в руки ослопом Ивашка Константинов, вдвоем гнали ночных грабителей до берега реки Самары, пока те, спасаясь, не кинулись вплавь к левому берегу... С той поры и называл сотник своего избавителя «крестным».

– Вот так встреча, крестный! Прости бога ради, не враз признал тебя! Вона как седым волосом подзарос. Ты-то что здесь делаешь, Иван? Среди казаков?

– Надумал с товарищами осетров ловить, Миша. И место прикормил, да, глядь, астраханский воевода своих ловцов с неводами прислал... Только тутошние осетры, крестник, с острыми зубами, о том упреди непременно своего полкового воеводу.

– Да-а, не чаял тебя здесь встретить, крестный... Порадоваться бы, ан вона как жизнь повернула нас друг против друга с ружьями, будь оно все неладно! – Михаил Хомутов озадаченно потер пальцами чисто выбритый подбородок, кинул быстрый взгляд за спину Константинова. Поверх ивового плетня видны головы и плечи обреченных на погибель – это Михаил понял теперь – казаков и стрельцов. И биться они будут с яростью осужденных на смерть, не прося пощады. Вдохнул, сожалея о них, о себе и о своих товарищах, которым поутру идти в бой... Но государеву службу с себя, будто напрочь прогоревший у костра кафтан, не сбросишь!

– Послан я, крестный Иван, полковым воеводой князем Львовым сказать вам, чтоб зря не супротивничали. Положитесь на милость государя и отдайте оружие без сражения...

– От государя-то, может, и была бы милость, Миша, да до него ох как далеко отсель! А боярскую да воеводскую милость казаки по себе знают! Богдан Сакмашов ее в Яицком городке куда как понятно растолковал, сажая по подвалам за один только косой погляд. Так что пушай берет нас воевода саблей, а мы даром в руки не дадимся... А лучше бы, – вдруг пришла удачная

мысль Ивашке Константинову, – князю Львову миром спустить нас в море к атаману Разину, тогда бы многие из стрельцов живы домой воротились. Скажи ему об этом от нашего имени.

Михаил Хомутов невольно рассмеялся, а глаза погрузтели еще больше, когда начал отвечать на нелепое, как подумалось, предложение крестного Ивана:

– Нешто он на такое попустительство решится! Тогда его самого в приказ Тайных дел свезут и на дыбу вздернут, как разбойника.

– Ну а если нас воевода побьет, тогда атаман Степан Тимофеевич с воеводами астраханскими так ли еще поквитается! – Ивашка Константинов выговорил это предупреждение таким уверенным тоном, что сотник снова с немалым удивлением взгляделся в лицо крестного. Потом с недоумением пожал плечами:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.